

# ВРЕМЯ И МЫ 75 1983

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ": АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ И ДРУГИЕ



# **ВРЕМЯ И МЫ**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ

*Девятый год издания*

Выходит один раз  
• дм месяца

---

**75  
1983**

**НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ**

**НЬЮ-ЙОРК-ИЕРУСАЛИМ-ПАРИЖ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1983**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**  
**ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

<b>ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД</b>	<b>КАРЛ ПРОФФЕР</b>
<b>МИХАИЛ КАЛИК</b>	<b>АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ</b>
<b>АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН</b>	<b>ИЛЬЯ СУСЛОВ</b>
<b>АСЯ КУНИК (отв. секретарь)</b>	<b>ДОРА ШТУРМАН (зам. гл. редактора)</b>
<b>ЛЕВ ЛАРСКИЙ</b>	<b>ЕФИМ ЭТКИНД</b>
<b>ЛЕВ НАВРОЗОВ</b>	

Израильское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizreeh, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"  
Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier BoiekHeu, 92800 PUTEAUX  
FRANCE

**Представители журнала:**

**Англия**      **Александр Щтромас**  
Croft House, Top Flat 32 New Hay flood Rastrick.  
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

**Западный**      **Juscwa Mischijew**  
**Берлин**      **Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65**

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

*Виктор ПЕРЕЛЬМАН*  
Театр абсурда . . . . . 5  
*Андрей НАЗАРОВ*  
Белый колли. . . . . 57

### ПОЭЗИЯ

*Марина КОСТАЛЕВСКАЯ*  
Поворот строки. . . . . 81  
*Софья МАРТОВА*  
Опоздание. . . . . 85

### ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

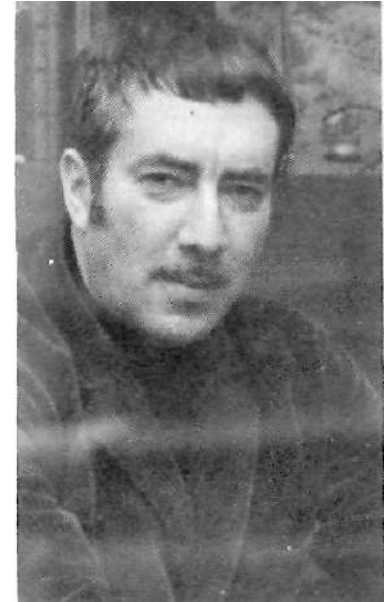
*Лев ТИМОФЕЕВ*  
Последняя надежда выжить. Предисловие Е.Эткинда . . . 95  
*Владимир ШЛЯПЕНТОХ*  
Эссе о власти. . . . . 117  
*Юлиус ТЕЛЕСИН*  
Исправленный Хемингуэй, или по ком стригут ножницы 135  
*Шломо БАУМ*  
О военной доктрине Израиля . . . . . 147  
*Абрам КУНИК*  
Сорок минут в нью-йоркском метро. . . . . 161

### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

*Джон БАРРОН*  
КГБ сегодня. Перевод И.Косинского. . . . . 179

### ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Галич и другие. . . . . 240



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

## ТЕАТР АБСУРДА

*Комедийно-философское повествование  
о моих двух эмиграциях  
Главы из книги*

Всякий раз, когда я возвращаюсь из Израиля в Нью-Йорк, мне кажется, что в мое отсутствие перевернулся мир. Но переступив порог редакции, я тотчас устанавливаю, что никаких судьбоносных изменений не произошло. Так было и на этот раз. Встретившая меня солнечной улыбкой моя правая рука и зам не замедлила сообщить, что Гилдесман уже три раза передавал мне привет. А накануне — не без волнения в голосе — даже поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь в Израиле с его другом господином Виктором. И на всякий случай попросил передать привет моей жене.

Не переставали обрывать телефон многочисленные клиенты фирмы "Мумие инкорпорейшн". За день до моего приезда президент фирмы Нолик Вольман явился в редакцию в сопровождении некой нервической особы, и оба часа два жггли какие-то странные ароматические палочки. Священнодействие кончилось тем, что особа на глазах у моего зама вручила Нолику семьдесят долларов чистоганом.

*Продолжение. Начало см. № 74.*

---

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

На своем письменном столе я обнаружил две толстых рукописи и гору неразобранных писем. Обе рукописи, по причинам, о которых читатель узнает ниже, у меня почти не отняли времени.

Первая оказалась папкой стихов, присланной некой неизвестной мне поэтессой из Сан-Франциско. Поверх стихов лежала ее фотография, посланная, по-видимому, не без задней мысли повлиять на редактора. Поэтесса полулежала на тахте, распутив длинные до пояса волосы и очаровательно улыбалась.

К стихам была приложена автобиографическая справка, которая явно должна была свидетельствовать о нетривиальном характере и мышлении автора. Поэтесса сообщала, что родилась на берегах Невы и первую потребность к самовыражению испытала еще в школе, что нрава она независимого, с мужчинами сдержанна, волосы светло-каштановые, рост 178 см. В редакцию посылает не все, а только лучшее: "Поэму желаний" на 120 страниц и "Венок сонетов", который очень хотят напечатать в Европе в парижском журнале "Эхо".

Первые же строки "Поэмы желаний" не оставляли сомнения, что это была одна из рукописей, которые "авторам не возвращаются и по поводу которых редакция в переписку не вступает". Но в редакционном уведомлении, сделанном на этот счет, ничего не говорилось о праве автора явиться лично, чем и воспользовалась поэтесса.

Примерно через два-три месяца она позвонила и сообщила, что на неделю приехала в Нью-Йорк и, естественно, очень хотела бы заглянуть в редакцию. У нее был мужской хрипловатый голос — как у многих начинающих поэтесс, и не было ни малейшего сходства с фотографией полулежавшей на диване красотики, полученной вместе с рукописью. Но особенно меня поразил ее рост. Она почти на голову была выше меня. Перед такими женщинами я почему-то всегда испытываю вину, будто уж сам не мог подрасти, чтобы не создавать неловкого положения.

К чести поэтессы она никакой неловкости не испытывала. Повесила на вешалку свой красный длинный балахон. Закури-

ла и стала упорно допытывать, что на меня произвело большее впечатление — "Поэма желаний" или "Венок сонетов".

Утром из нью-йоркской телефонной компании пришло сообщение, что за неуплату у нас выключают телефон. И я сказал, что я бы на ее месте еще поработал над "Венком сонетов".

— Ничего себе! А на "Поэму желаний" — поставить крест?! — воскликнула поэтесса.

— Поработайте и над "Поэмой желаний".

Я не сводил глаз с письма телефонной компании и проклинал себя за то, что предоставил отгул своей правой руке и заму, у которой непревзойденный талант поднимать настроение авторов, получивших назад рукописи. После разговора с ней автор обычно уходил окрыленный и иногда даже подписывался на журнал "Время и мы".

Поэтесса почувствовала, что у меня нет достаточного представления о ее творчестве. Она извлекла из сумочки еще пачку стихов и кокетливо пробасила: "Я уверена, что это только начало нашей дружбы, и вы возьмете шефство над моим творческим ростом"

Но все это было позже. А пока я обращаюсь к следующей рукописи, которая ждала меня на столе. Открыв папку и увидев вложенные в нее 250 австрийских шиллингов, я сразу же понял, кто ее автор.

Австрийские шиллинги для оплаты ответов высылал только один наш корреспондент, чье первое произведение я получил лет двадцать пять назад, когда работал в журнале "Советские профсоюзы". Это были "Заметки новатора", которые прислал ударник харьковского тракторного завода Николай Борисов. Я хотел от его шедевра отбиться, но он обратился к председателю ВЦСПС Виктору Васильевичу Гришину, и из канцелярии Гришина пришла резолюция: "С каких это пор в нашем профсоюзном журнале не может напечататься рабочий человек?"

Перейдя из "Советских профсоюзов" в "Литературную газету" я, разумеется, забыл о существовании Николая Борисова и столкнулся с ним, точнее, с одним из его произведений уже в Израиле, будучи редактором журнала "Время и мы".

Однажды, просматривая утреннюю почту я обнаружил в ней нечто такое, до чего не могла бы додуматься никакая фантазия. Да, это был он, наш броневой автор Николай Борисов: "Дорогой Виктор Борисович! Наконец-то я вас разыскал. Пишу вам из Вены..."

Нет, джентльмены, я не случайно назвал эту вещь "Театром абсурда". Ибо скажите, положив руку на сердце, в каком еще театре вы могли бы увидеть, что прославленный ударник, на которого равнялись восемьсот тысяч читателей "Советских профсоюзов", в прошлом окажется — кем бы вы думали? — троцкистом, чья настоящая фамилия никакой не Борисов, а Наум Лифшиц. Борисовым же он стал после отсидки, дабы ударным трудом искупить прошлое. Но его троцкистская натура, видимо, не могла не сказаться — при первой возможности наш рабкор эмигрировал. И из Вены вместо скромных "Записок новатора" прислал килограмма на два "Записок бывшего троцкиста".

Далее началось примерно то же самое, что в Москве. Правда, на этот раз с обратным результатом. Из редакции в Вену последовал отказ. Из Вены в редакцию — новый вариант. Из редакции в Вену — новый отказ. Но пробиться в журнал без помощи профсоюзной общественности нашему автору так и не удалось.

— Да что же это такое, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку! — возмутился он в конце концов.

По наивности я думал, что это его последнее письмо — я плохо знал неукротимый дух этого человека.

Как ни в чем не бывало он писал мне теперь в Нью-Йорк: "Дорогой Виктор Борисович! Ах как я рад, что мне снова удалось вас разыскать! Я даже не знал, что вы переехали в Америку, о чем мне любезно сообщили товарищи из "Русской мысли".

Далее он писал, что лишь на Западе понял, что литературой нельзя заниматься между прочим. И только сейчас, выйдя на пенсию, сможет наконец всецело отдать себя делу всей своей

жизни — воспоминаниям бывшего троцкиста. И как старого товарища он меня просит ознакомиться с новым вариантом, который хочет напечатать только в журнале "Время и мы". "Вы же знаете, как я люблю ваш журнал, просто сердце болит, когда видишь, что люди не хотят подписываться".

После двенадцатичасового перелета из Израиля в Америку я не имел понятия, что написать нашему старому рабкору, в котором ключом бьет энергия и который так много лет связан с журналом.

И вдруг меня осенила идея — предложить ему стать уполномоченным по подписке на "Время и мы". Неясно было только, что делать с четвертым вариантом "Записок бывшего троцкиста".

— Вы что же не хотите это даже прочесть? — воскликнула моя правая рука и зам. — Ах, какое неуважение к труду автора!

Спорить не было сил. И тут возникла еще одна гениальная идея — поручить моему заму вступить с новым уполномоченным в личную переписку и совместными силами дотянуть "Записки бывшего троцкиста".

— Но это уже слишком! — возразила она. — Что у меня другой работы нет?

— Нет, не слишком, — теперь уже стоял на своем я. — В конце-концов это, действительно, безобразие, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку!

На этом с рукописями было закончено. И я перешел к письмам читателей. Природа не терпит однообразия, но это, по-видимому, не относится к читательским письмам. И хотя среди Монблана неоплаченных счетов они составляли лишь единицы, мог ли я представить, что первое же среди них, пришедшее к нам на Пятую авеню из штата Огайо, будет посвящено — кому бы вы думали? — нет, не Троцкому, слава Богу, не ему! но лицу к нему чрезвычайно близкому — Владимиру Ильичу Ленину.

"Дорогая, многоуважаемая редакция! Я совершенно не согласен с утверждениями некоторых эмигрантских авторов, будто Ленин приехал из Германии в Россию в незапломби-

рованном вагоне. Я считаю, что это вопрос политический, ибо так мы можем договориться и до того, что он и денег не получал от Германии, как утверждают некоторые либеральные носороги на Западе. Я искренне надеюсь и очень прошу опубликовать мое письмо. Тем более в прошлом я был боевиком-эсером (сейчас мне 83 года) и лично знал Якова Блюмкина, зверски расстрелянного в подвалах ЧК. С искренним уважением, Соломон Сыркин, пенсионер. Кливленд, штат Огайо".

Других писем я не вижу — одни счета и платежки, — нет, простите, вот еще одно из Бруклина. Природа действительно не любит однообразия. На этот раз письмо было не о вождах мирового пролетариата, а совсем наоборот: о представителях эмиграции, погрязших в алкоголизме и целыми вечерами просиживающих в ресторанах на Брайтоне. И о том, что в своей статье "Пир победителей" я "правильно ставлю перед общественностью вопрос о том, что деньги в жизни — еще не все: доллары долларами, а что же дальше?"

Со всеми этими долларами и троцкистами я чуть не забыл главное: за время моего отсутствия родились два новых журнала — "Стрелец" и "Петух".

"Стрелец" — для элиты, "Петух" — для масс. Элита, как всегда, проявляла сдержанность. "Петух" уверенно завоевывал читателей и через русские магазины "Интернейшенл фуд" проник в самое сердце делового Нью-Йорка — на Брайтон Бич, чего никак не удастся журналу "Время и мы".

Да, дорогие читатели, я понимаю, как вам осточертели все эти запломбированные вагоны и бывшие троцкисты вкупе с левыми носорогами и эмигрантской общественностью. Признайтесь же, надоело? Вам хочется чего-то личного, интимного и, может быть, простите, даже чуть-чуть сексуального. Я знаю, что вам хочется именно этого и прошу вас не отчаиваться. Мы ведь находимся в центре Нью-Йорка, в трех минутах от Сорок второй стрит, где, уверяю вас, есть абсолютно все, в том числе и то, по чему, согласно Фрейду, слегка затосковала ваша вырвавшаяся на свободу душа.

Впрочем, зачем нам Сорок вторая? Я не заметил еще одного письма, которое завалилось под стол и в котором есть

как раз то, чего вы с нетерпением ждете (разумеется, не в лоб, а инсказательно, Фрейд Фрейдом, а кто же из наших читателей в открытую полезет с сексом). Но самое занятное, нечто интимное и даже, можно сказать, сексуальное, приключилось в тот вечер со мной самим.

Признайтесь, что в вашей голове уже сложился мой образ — этакого оторванного от жизни фанатика, не нашедшего для себя в Нью-Йорке лучшего занятия, чем выпускать русский литературный журнал, на который без применения оружия все труднее подписать нормального человека.

Но не будем опережать событий и вернемся к уже упомянутому мной письму.

Оно касалось опять же моей статьи "Пир победителей". Но какой пожар мне удалось разжечь в груди его автора!

"Дорогой, уважаемый Виктор! Наконец-то вами сказано то, чего давно уже ждет эмиграция! Наконец-то нашелся человек, который так хорошо меня понял. Кстати, уважаемый Виктор, простите за некоторую нескромность, но я бы хотела узнать, не тот ли вы Витя Перельман, с которым мы когда-то вместе ходили в школу. Может быть, вы помните такую маленькую девочку со светлыми косичками? Да, нет же, что я пишу! Конечно, вы забыли! Но знаете, когда все кругом только и кричат: "доллары! доллары!" — так хочется чего-то большого и настоящего. Если сочтете возможным, черкните по нижеуказанному адресу. А лучше выбросьте в корзинку это письмо и забудьте все, что в нем написано!"

Я не помнил никакой девочки с косичками. Но и письма я не выбросил. Некое шестое чувство подсказывало мне, что моя корреспондентка созрела для того, чтобы подписаться на журнал. Однако на сей раз шестое чувство вероломно обмануло меня.

Я написал ей, что совсем не исключаю того, что мы учились в школе и даже стал ее расспрашивать, помнит ли она нашу директрису Марию Тимофеевну. И лишь затем очень тактично поинтересовался, не хотела бы она получать журнал "Время и мы" с большей периодичностью, чтобы чаще читать статьи, подобные "Пиру победителей". Я был нежен, тонок и

вероломен. Закончив письмо, я вложил в конверт подписной талон, получателю которого предлагалось выслать в редакцию чек на 43 доллара. Вот тут-то и последовала отповедь!

Моя корреспондентка проклинала тот день и час, когда позволила себе отправить вырвавшееся из глубины души письмо. Она писала писателю, инженеру человеческих душ, а я просто посмеялся над ее чувством. "Где же вы настоящий — когда отстаиваете чистоту человеческих порывов или когда требуете 43 доллара от одинокой женщины?!"

Впрочем, эта отповедь придет позже, может быть, месяц или два спустя, а пока что, разобравшись с письмами, я погружаюсь в счета, которые всякий раз портят мне настроение. За окном хлещет дождь, над Нью-Йорком спускается вечер. Судя по всему, воротилы Уолл-Стрита уже давно покинули свои офисы.

За дверью раздается стук щетки — это наша негритянка-уборщица, или, как мы ее зовем, "Черная радость". У нее уникальная способность — появляться со своим ужасным стуком именно тогда, когда у меня преотвратное настроение (точно так же, как в той старой жизни, появлялись в моем почтовом ящике повестки в военкомат).

"Черная радость" — исполинского роста она всегда в одном и том же неопределенного цвета халате и такого же неопределенного цвета косынке. В ее облике — нечто среднее между гигантской Статуей свободы (если последнюю окрасили бы в черный цвет) и столь же гигантской скульптурой Паши Ангелиной, установленной в довоенное время у входа в ВСНХ.\*

Никто из нас не видел, чтобы "Черная радость" когда-нибудь улыбнулась или выразила недовольство или сказала хоть слово, ну, например, "How are you doing?" Она появляется молча, с такой же исполинской, как она сама, щеткой в руках — кажется, она давно уже плюнула на нашу вечно заваленную бумагами редакцию, и главное для нее даже не убрать, а пораэмахивать определенное количество раз щеткой и с тем же мертвым, каменным лицом удалиться прочь.

Бросив безразличный взгляд на скрывающуюся за дверью "Черную радость", я снимаю с вешалки старое, еще из Израи-

\* Возможно ВСХВ? (Д. Т.)

ля кожаное пальто, беру зонтик и, похоже, последним в здании выхожу на улицу.

"Черная радость" мне окончательно испортила настроение, и в том, что произошло, я поначалу обвинял именно ее. Но, когда в автобусе по дороге в Леонию проанализировал все на трезвую голову, то понял, что "Черная радость" тут ни при чем.

С трудом защищаясь зонтом от дождя и ветра, я словно затерявшийся в океане дреднот медленно продирался вперед — навстречу своему сексуальному приключению. Мысли были подстать погоде. Все надо было начинать сначала — ни денег, ни материалов на следующий номер. Лило как из ведра. Сорок вторая ходила ходуном. Под грохот джаза, который несся из каждой дыры, горланили на своем чудовищном английском зазывалы.

Поравнявшись с зеркальной витриной, я краем глаза покосился на свою фигуру. Ничего более нелепого нельзя было представить: купленный еще утром за доллар зонтик от дождя и ветра превратился в клочья, которые развевались над моей головой. Прямо на меня, опять же, как потерявший управление корабль, шел шепчущий себе под нос какую-то ахию гигантский негр. И, решив уступить ему дорогу, я оказался перед стеклянной дверью. За дверью стояла та, что едва не увлекла меня в пучину секса. Когда я вошел, она подала мне замерзшую ладонь и сказала, что ее зовут Сюзи. И если у меня сейчас нет времени, то она предлагает мне записать телефон.

Я решительно отказался. Я сказал: "No, no. I am very sorry. I am very busy" и выскочил из подъезда.

Джентльмены, на вашем лице недоумение. О, кажется я знаю, что вас не устраивает! Чем такой секс, так лучше уж гилдесмановские приветы и запломбированные вагоны.

Считайте, что я вам ничего не рассказывал и крошка Сюзи зазвала меня исключительно для того, чтобы вручить телефон Клуба нью-йоркских феминисток. А я со своим английским ничего не понял и воскликнул: "No, no. I am very sorry. I am very busy".



Все последующие дни феминистка Сюзи не выходила у меня из головы. Впрочем, занимала меня даже не она, а некая повторяемость ситуаций. Дело в том, что нечто подобное со мной уже однажды произошло лет десять назад в Италии. И хотя это случилось при совершенно иных обстоятельствах, я произнес те же английские слова.

К журналу "Время и мы" это имело еще меньшее отношение, чем запломбированные вагоны и гилдесмановские приветствия. Но я все же этой истории коснусь. Чтобы не обвинили меня будущие критики в пристрастности или еще того хуже — в приукрашивании собственной персоны. Де, как только абсурд касается других, я тотчас поднимаю занавес, а как самого себя — сразу же антракт. Нет, нет, наш театр демократичен. Включите прожекторы. Поднимите занавес. Время снова возвращаться в семьдесят третий год. Что поделаешь, если раскачивается без конца во мне этот маятник с амплитудой в десятилетие — вперед-назад, вперед-назад...

Итак, я уже сказал, что это произошло в Италии, я послан был туда ведомством Нехемии Гидрона вскоре после своего приезда в Израиль. И точно так же, как в этот раз, я брел по Сорок второй, я оказался на виа Фраттини (или где-то около нее в Риме), но тогда я был еще молод и, только что вырвавшись из России, жил в мире текстов, считая себя обязанным следовать разуму и логике. Не то что теперь, когда я уже знаю им истинную цену.

Логика — это всегда гармония. А чего стоит гармония в мире, где я живу? И можно ли тут хоть что-то понять разумом? Кому вообще подвластны перипетии жизни?

Читатель помнит реакцию Нехемии Гидрона, когда я поведал ему о своей мечте. Я хотел создать единственную в мире русско-еврейскую газету, а он в ответ, припав к моему уху, шепотом посвятил меня в святая святых: "Виктор, учите иврит". Он хотел, чтобы я следовал логике жизни. И я готов был к этому. Но в моем подсознании все бунтовало против нее.

Вот вы, дорогой читатель, представьте, что вы такой же еврей, как я, с такой же еврейской фамилией и такой же, как у

меня русско-еврейской судьбой. Нет, вы не инженер, не врач, не кандидат и даже не снабженец, вы такой же еврей-журналист, как я, с нашей вечной манией что-то выдумывать, творить, что-то вечно редактировать и выпускать. И с единственным правом делать то, что в "Литературной газете" делал я.

Я жил в мире, где глупость возведена в ранг государственной мудрости, и моя миссия состояла в том, чтобы придавать ей более или менее респектабельный вид. Вот откуда и родилась эта жар-птица — мечта о единственной в мире русско-еврейской газете, маниакальная идея, вне которой не понять моей жизни.

Надо было проиграть сначала и до конца пьесу, чтобы постигнуть эту, в сущности, детскую мысль: жизнь — есть никакое не развитие от низшего к высшему (как в нас вбивали со школьной скамьи), а лишь простая смена абсурдов, обладающих уникальной способностью водить вас за нос. Гегелевская триада требует поправки. Абсурд — все: и тезис и антитезис, и рождающийся на их базе синтез. Одна иллюзия сменяет другую, и на их основе рождается новая, но опять же только иллюзия. Итак, вы поняли: единственная в мире русско-еврейская газета. И если вам еще непонятно, как я оказался в Риме, то почему я отправился на улицу Гимел, 7, в ведомство Нехемии Гидрона, для вас уже не составляет загадки.

Даже в облике этого учреждения было что-то страшно знакомое. Как и полагалось, внизу стояла вооруженная охрана, но не российский Иван в шинели и кирзовых сапогах, а такой маленький пузатый еврей, по имени Шмулик, в брезентовой курточке и с подвешенной сзади кобурой.

Узнав мое имя, Шмулик кому-то позвонил, кто-то ответил, что Нехемии нет, а есть его зам — Шницер, и он меня ждет у себя.

В отличие от Нехемии, Шницер оказался седовласым, лет под шестьдесят Аполлоном, который на протяжении всего нашего разговора и не заикнулся об иврите, а все больше говорил о том, какая это чудная идея — создать международную еврейскую газету на двух языках. "А потом и на третьем!" — подбрасывал я дров в огонь. "Очень интересно!" —

воскликнул Шницер. "И освещать алию во всем мире!" — продолжал я. "Ну это же превосходно! — отвечал он. — Есть, правда, маленькая загвоздка с деньгами. Но это мы утрясем! Сегодня вторник, позвоните мне в четверг!"

Чтобы двинуть сюжет, сразу же скажу, что Шницера в четверг не оказалось, а принимал меня его зам — Зельцер, который не заикнулся ни о иврите, ни о еврейской газете, а ни с того, ни с сего сказал: "Знаете, мы хотим вас послать в Италию". — "Бороться за советских евреев!" — понимающе воскликнул я и через неделю положил на стол Зельцеру папку с текстом моего будущего доклада перед евреями Рима.

"Простите, Виктор, что это такое?" — "Как что? Доклад". — "Простите, какой доклад?" Он окинул меня взглядом, каким обычно смотрят на человека, чье поведение не согласуется с общепринятыми нормами. Удивление вскоре сменилось пониманием. А понимание почему-то сочувствием и еще даже чем-то более теплым и дружеским.

"Послушайте, Виктор, — уже совершенно по-товарищески сказал Зельцер, — я не думаю, что все это нужно так официально: — темы, доклады. Сколько вы просидели в отказе? Год? Больше? Поезжайте, отдохните. Бедному еврею иногда тоже не мешает развлечься!"

Я было упомянул о Шницере и о газете. "Какая газета! Езжайте отдыхать! Вас встретит там наш человек — Марио и снимет для вас гостиницу. А сейчас — будем готовить для вас иностранный паспорт. Вы, наверное слышали, — у нас правило — по возвращении паспорт сдается".

Он вызвал какого-то толстяка Авраама, который сказал, что дает мне адрес, чтобы я срочно сфотографировался и опять же, чтобы я по приезде не забыл сдать паспорт.

"А почему, — вошел я вдруг в веселый азарт, — это ведь мой паспорт!"

Авраам окинул меня подозрительным взглядом, словно хотел спросить: "Да тот ли ты вообще, за кого себя выдаешь?" Но вместо этого сказал: "В общем так, ты идишь знаешь? Так вот: дрейниш копф! Хочешь — сдавай, хочешь —

держи. Но если ты хороший еврей, крутить не будешь. Приехал: "Шолом, Авраам" — "Шолом, Виктор!" Паспорт на стол и будь здоров!"

Встретивший меня на аэродроме Марио по-братски обнял меня и сказал, что я могу быть совершенно спокоен: итальянский народ не бросит на произвол судьбы советских евреев.

То, куда привез меня Марио, отелем можно было назвать лишь при большой фантазии, но еще большую фантазию надо было иметь, чтобы закуток, куда меня поселили, назвать номером.

Просыпался я чуть свет, когда за окном (точнее, за тем, что в этом "номере" называлось окном) начинали горланить демонстранты. Кто-то вечно чего-то требовал, гудели машины, свистела полиция. "Когда же они работают, эти макарончики?" — ворочался я на своем вечно испускавшем пух и перья ложе, и не в силах заснуть, поднимался и первым делом проверял, на месте ли мой иностранный паспорт.

На третий день Марио сказал, что на викенд он уезжает к теще в Неаполь и не буду ли я возражать, если на пару вечеров он предоставит меня самому себе. На днях меня разыщет очень славный малый из еврейской общины, по имени Арриго, и устроит такое, что будут трубить все итальянские газеты. Я еще не знаю итальянцев. Это только кажется, что они легкомысленны. А на самом деле — ой-ей-ей, да они Брежневу глаза выцарапают за каждого отказника.

В понедельник Марио позвонил из Неаполя и сказал, что теща заболела и он задерживается. Кстати, не заходил ли Арриго? Ах, если бы я знал, что это за парень! Ненавидит штампы! И у него есть для меня несколько вариантов: митинг в ресторане и даже бал в пользу советских евреев. А если еще выступит известный борец за алию Виктор Перельман...

В этом месте нас прервали, и он так и не договорил, что будет, если я лично выступлю на митинге.

Опережая события, я должен сказать, что никакого митинга так и не состоялось. Что же касается славного малого по имени Арриго, то, чтобы не лишать вас нескольких веселых минут, я скажу о нем ниже — ничуть, кстати, не отступив от последовательности событий.

И так день за днем я ожидал с ним встречи, пытаюсь угадать, где же мне придется выступить на митинге — в ресторане или на балу? И даже выучил наизусть свою речь (главная мысль которой состояла в том, что пока существует Кремль, евреи не могут спокойно спать). Я ждал встречи с Арриго, пока на одной из маленьких улочек, возле моего отеля, не произошло нечто подобное тому, что случилось десять лет спустя на Сорок второй.

Но не будем задерживаться. Итак, джентльмены, перед вами Рим. В отличие от урагана, бушевавшего на Сорок второй, на его улицах май. По сцене веселыми стайками порхают очаровательные, в коротеньких юбках ласточки. Но я не замечаю ни Рима, ни мая, ни порхающих по тротуарам ласточек — до них ли известному борцу за алию, и для этого ли я приехал в Рим?

Я почти уверен, что не кто-нибудь, а именно тексты меня и попутали. В Бейт-Бродецком — после того как я вернулся в Израиль, еще долго потешались надо мной, и каждый раз в разгар застолья поднимался Шатров и произносил: "А сейчас мы заслушаем рассказ господина Перельмана о том, как он пытался поставить римских блядей на службу мировому сионизму".

По-моему, это была виа Фраттина или какая-то другая улица возле самого моего отеля, где по вечерам порхало особенно много ласточек, как я теперь понимаю, с целями, не имеющими ничего общего с еврейским национальным возрождением. Тут и произошел казус, который еще долго приводил в веселое настроение моих соседей по Бродецкому.

Не спрашивайте, как и почему он произошел (все что мог, я вам уже объяснил). Но я действительно уверовал, что подозрительная личность в широкой клетчатой кепке, которая в одиннадцать вечера выросла из-под земли возле моего отеля и есть легендарный и столь долгожданный мной Арриго. Личность оказалась евреем, что я тотчас же понял по его акценту: "Или вы хотите что-нибудь интересное?" Конечно же это был он, Арриго, и потому я сразу же перешел к делу: да, я знаю, что он парень не промах, ненавидит штампы и лично знаком со многими журналистами. К тому же, у него есть варианты...

В чем-в чем, а в выдержке ему нельзя было отказать, хотя при упоминании журналистов в его лице проснулось что-то испуганное. Зато при слове "варианты" оно сразу же ожило и он сказал: "Да я имею несколько очень неплохих вариантов". — "Вот и отлично, — воскликнул я. — Скажите только где и когда?" — "Да хоть сейчас, мы все к вашим услугам!" Он тихо свистнул и перед моим ошалелым взором выпорхнула стайка ласточек, мгновенно обступивших меня со всех сторон. (С этими ласточками Шатров меня буквально извел — чтобы я описал ему каждую, но как только я пытался это сделать, он тотчас прерывал меня: "Ну, бле, даешь! Неужели тебе мало заниматься сионизмом на своей исторической родине?!")

Впрочем, после появления птичек особенно, когда одна из них повисла у меня на руке, я все понял и тут же подумал: "Этого еще мне не хватало!" И решительным жестом отцепив ласточку, отрезал: "I am very sorry. I am very busy".

Конец эпизода был таким, что я даже не рискнул рассказать о нем своим друзьям в Бродецком. Я решительно, огромными шажищами шел к отелю, а Арриго, мелко семеня, бежал за мною и на ходу, путая все языки мира, говорил, что если у меня есть "абисэлэ гелд", то у него есть и другие варианты. "Но, но, — отвечал я", — и, ударив по левому карману, почувствовал, как у меня сжалось сердце. Паспорт! Украли! Провокация! КГБ!

Из гордого сиониста я превратился в самое несчастное существо на свете. Мне казалось, что прошла целая вечность, пока я по темной, пахнущей кошками, лестнице не вскарабкался в свой "люкс" и на всякий случай не приподнял подушку. О Боже! Под ней преспокойно лежал мой иностранный паспорт. Я снова был самым счастливым человеком на свете.

## СВОБОДНЫЙ МИР

Если в этом мире возможно вознесение к небесам, то именно это и произошло со мной по приезде в Германию на радиостанцию "Свободный мир". Я снова превратился в признан-

ного борца за свободу советских евреев и к тому же бывшего редактора "Литературной газеты", бросившего вызов всемогущему Александру Борисовичу Чаковскому. Несмотря на превратности судьбы, тексты не хотели оставлять меня.

Впрочем, все мои титулы в административном отделе вылились в одну первостепенной важности строку, именовавшую меня "консультантом радиостанции "Свободный мир".

Мне был предоставлен трехкомнатный номер в одной из лучших немецких гостиниц "Арабелла", где четыре раза на день на моей постели взбивались подушки. Мне платили сто долларов в день за одно-единственное — что я такой известный и уважаемый борец удостоил радиостанцию "Свободный мир" своим личным посещением.

Даже обращение ко мне было совершенно особое и неземное. Никто не говорил: так, мол, и так, мы хотим у вас взять интервью — а изысканно вежливо спрашивали: "Не будете ли вы, Виктор Борисович, возражать, если мы эдак минут двадцать эксплуатнем вас в студии". Никто не говорил — "не составишь ли компанию пообедать?" — а извиняющимся голосом сообщали: "Виктор Борисович, вы уж не взыщите, но сегодня мне выпала честь пригласить вас посидеть в "Арабеллу".

На торжественном обеде в честь моего появления много пили. Вначале за свободу советских евреев, потом за мой приезд, потом еще за что-то. Первым захмелел начальник русской службы Дик Рейзин. "Ну и что вы думаете о ситуации там?" Я сказал, что "там" скоро не останется ни одного еврея.

Он воскликнул: "Браво!" и добавил, что обожает русскую водку, особенно под селедочку и соленые огурчики и что "там" он служил вторым советником посольства, пока его не вытурили. Но вообще-то он Россию и русских людей страшно любит. "Ох, как люблю, — блаженно закатил он глаза и сказал, что у него ко мне товарищеская просьба — проконсультировать русский отдел, как лучше вещать на Россию, — а то ведь мы просто, как дети. Мы любим петь и смеяться, как дети! Говорим, а что говорим — сами не знаем".

Наиболее въедливым оказался мой сосед справа, представившийся как профессор Мичиганского университета Иван Петрович Латышев — главный консультант радиостанции по вопросам русского языка.

Назавтра, когда я явился на станцию, он зазвал меня к себе в кабинет и, усадив в глубокое кожаное кресло, начал:

— Виктор Борисович, как коллега коллеге разрешите мне вас эксплуатнуть первым, без всяких там цирлих-манирлих. Вот вы профессиональный журналист, скажите — хорошим языком наша станция вещает или не очень? Когда меня об этом спросило начальство, я, знаете, человек прямой, русский — прямо им врубил: "При всем уважении к вам, джентльмены, язык ваш — не очень". Так знаете, что они мне ответили? — "А почему, собственно, не очень?" — Ну, что я им, Виктор Борисович, мог сказать? — Спросите мне что-нибудь полегче. Я — один, а они вещают двадцать четыре часа в сутки. Тогда они пристали — а, знаете, когда американцы пристаю — не отвяжешься, так вот, пристали, какую лучше заставку делать: "Говорит радио "Свободный мир" или "В эфире — "Свободный мир"? Азохен вэй, очень важный вопрос! Я им говорю: "Ох, будьте вы неладны, какая вам разница". Но у них в Вашингтоне один умник нашелся — привязался к слову "эфир", мол для русских оно непонятно. Подите им объясните. В общем, Виктор Борисович, хотите — не хотите, а я должен вас эксплуатнуть. Берите вот этот десяток папочек, а дней через пяток мы за них засядем..."

Не успел я выйти от Латышева, как ко мне подлетел энергичный жилистый молодой человек в очках и, представившись Мишей Граббе, сказал, что у него есть ко мне дельце.

— Что, хотите эксплуатнуть?

— Не эксплуатнуть, а как следует поэксплуатировать и пригласить для этого в десятую студию.

В студии Миша долго усаживал меня, устанавливал микрофон, весело потирая руки, приговаривал: "Располагайтесь, располагайтесь, Виктор Борисович, нам будет о чем поговорить!"

Наконец было все готово, и Миша сообщил радиослушателям, что у микрофона корреспондент радио "Свободный

мир" Михаил Гребнев и что сегодня в студии очень интересный гость, о котором радиослушатели, конечно, слышали и с которым ему, Михаилу Гребневу, представилась честь побеседовать.

— Ну а теперь, Виктор Борисович, давайте помаленьку переходить к делу, — сказал он снова весело потирая руки. — Все мы знаем, что незадолго перед отъездом вас как бывшего редактора "Литературки" постигли определенные неприятности: увольнение с работы и прочее. Может быть, именно с них мы и начнем нашу беседу, которая, как мы все чувствуем, обещает быть очень интересной...

Вот так началось мое первое интервью на радио "Свободный мир", в ходе которого Миша Граббе намотал одиннадцать катушек, и мой голос еще года полтора звучал на Россию.

— А пока, Виктор Борисович, большое спасибо, — долго ждал мне руку Миша Граббе, — честное слово, приятно иметь дело с человеком, которому есть, что сказать.

Потом меня вызывали в студию другие сотрудники и почти каждого интересовал вопрос — сколько лет я пробыл в партии и что за люди работают в "Литгазете" — много ли евреев и коммунистов и правда ли, что Чаковский тоже еврей? Особенно домогался всего этого высокий в ярко расшитой гущулке украинец, которого все звали Львом Евсеевичем, а у микрофона он представлялся как Лев Евсеев.

Лев Евсеич все пытался выяснить, — а будут ли когда-нибудь выпускать из России украинцев? Или только одних евреев, а на самостийную Украину всем наплевать. "Ну это, последнее, мы, конечно, вырежем, — сказал он, заканчивая интервью. — Но, знаете, просто сэрдце болит!"

В станционном здании было три этажа. Наиболее изысканной жизнью жил самый высокий — третий, где размещался кабинет директора станции с картой СССР во всю стену. На столах здесь стояли бутылки "Скотча" и соды, говорили только по-английски и обращались друг к другу исключительно по именам: Джим, Боб, Джо, Кейч, Дик...

На втором этаже все было уже по-другому: "государственным" языком был русский. И еще украинский. На подокон-

никах и столах стояли бутылки из-под водки и пива. Все называли друг друга культурно, по имени-отчеству. Впрочем, иногда и нецензурно, особенно, когда горели новости и не было дикторов.

Докой по этой части был тощий чахоточного вида диктор — вылитый Трофим Денисович Лысенко.

Закончив со мной интервью, Лев Евсеевич попросил меня перейти в другую студию, где нас и поджидал "Лысенко".

— Иди-ка ты, знаешь куда, Лев Евсеич, — в жопу! Вчера я тебя ждал час. Сегодня час.

В конце-концов он нас все-таки записал, но предупредил, что это в последний раз.

— Тут вам не КПСС, чтоб бардак разводить! — бросил он вслед не то мне, не то Льву Евсеевичу.

Наверху располагалась "кантина" — ресторан радиостанции, где рядовые сотрудники проводили большую часть своего времени, а некоторые целый день, пока не вызовут в студию. Государственным языком был исключительно русский, а главными персонажами — две официантки: Валюша и Катюша, которые были отъявленными матерщинницами и меньше всего церемонились с посетителями кантины.

В кантину я забрел в поисках пива, уже когда кончился рабочий день, и тотчас увидел компанию моих изысканно вежливых интервьюеров со страстью забивающих козла. Играли на деньги. Козла забивали за столом, уставленным целой батареей пивных бутылок.

Я появился в разгар бурной дискуссии, явно не имевшей отношения к судьбам России. Увидев меня, они едва кивнули и снова ринулись в бой, пока к ним не подошла Катюша и раздраженно не сказала:

— Вы что же думаете, я до утра здесь буду с вами мудовать?

— Усе, Катюшенька, усе, моя ласточка, — поднялся первым мой интервьюер Лев Евсеич и, шатаясь, двинулся по направлению к выходу. За ним встали из-за стола и остальные.

— Вот мудозвоны, — провожала их до двери Катюша, смахивая по дороге крошки со столов.

Приближался последний день моего пребывания на радиостанции, и Миша Граббе от имени администрации попросил меня ответить на вопросы сотрудников. Открывая встречу, он по обыкновению, весело потирал руки.

— Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы последний раз попросим разрешения у нашего дорогого гостя, Виктора Борисовича, эксплуатнуть его. Надеюсь, что наша встреча, как и все встречи с Виктором Борисовичем, пройдет в хорошей душевной обстановке. У кого какие вопросы, дорогие друзья, прошу! Прошу вас, Лев Евсеич, — повернулся он к моему постоянному интервьюеру в украинской гуцулке.

— У меня к нашему гостю только один вопрос: почему он так поздно поумнел? Что он раньше не видел, с какой гнидой имеет дело — КПСС? А то ведь так много умников найдется — от каждой матки по соске.

— Лев Евсеич, Лев Евсеич! — прижал к груди руки Граббе. — У вас вопрос или выступление? Если вопрос — то, пожалуйста!

— Вопрос. Именно вопрос! Раскаивается ли товарищ, что так долго просидел в этой вонючей партии?

— Позволю себе ответить за нашего гостя, — сурово насупил брови Миша Граббе, — своими делами Виктор Борисович недвусмысленно и ясно доказал, как он относится к КПСС и кремлевскому руководству.

— Кому ясно — кому нет, — буркнул Лев Евсеич.

— У меня вопрос. — На этот раз спрашивал двойник Лысенко. — Почему надо подымать такой шум именно вокруг евреев? Вот, как сам господин Перельман считает? А что — крымские татары хуже? А украинцы? А латыши? Я человек русский, прямой — и что бы там про Власова ни болтали, а у него такого бардака не было: чтобы одних спасать, а других топить...

— Господа, господа! Помилуйте, — снова поднялся Миша Граббе. — Какая тут связь — Власов и наш уважаемый гость из Израиля?!

— Ну а раз связи нет, чего зря языком молоть! — огрызнулся Лысенко и едва слышно бросил соседу — евреев, Гоша, не тронь. Ни-ни.

— Больше вопросов нет, господа? — оглядел окрыленным взглядом присутствующих Миша Граббе, явно желая все закруглить и досадуя, что никак не получалось.

— Позвольте задать Виктору Борисовичу вопрос, — поднялся в самом дальнем углу на галерке лысоватый с маленьким боязливым лицом старичок. — Я, господа, как вы знаете, на пенсии. Времени у меня — хоть отбавляй. Так что я хочу сказать? Прочитал я, Виктор Борисович, отрывки из вашей книги "Покинутая Россия". Написано хорошо, правдиво. Но вот в одном месте споткнулся, и такое меня разобрало любопытство, что сил нет. Может, конечно, неудобно спрашивать, но я все же спрошу. Вы там в одном месте про свою мамашу пишете и указываете ее фамилию — Захарова. Так вот мой вопрос такой: мамаша-то у вас русская была?

— Господа, — решительно поднялся Миша. — Вопрос не по существу. Если хотите, Петр Николаевич, задайте его гостю после встречи. А пока что разрешите от имени коллектива станции его поблагодарить. Спасибо, Виктор Борисович! Большое спасибо! За помощь и сотрудничество. Но а если что не так, то, как говорят в русском народе, не поминайте лихом. — И Миша трижды по-русски меня поцеловал.

## САГА ОБ ИНОСТРАННОМ ПАСПОРТЕ

Я с удовольствием возвращался в Израиль. В аэропорту меня никто не встретил, так что пришлось брать такси, из окна которого я с интересом разглядывал все происходящее вокруг.

В Бейт-Бродецком ничего не изменилось. Жена по-прежнему ходила в ульпан и учила иврит, дочка — в школу. По вечерам теперь к нам почти никто не заглядывал.

Я допрашивал жену, кто мне звонил. Шамир из "Едиота"? Ландау из "Аль Гамишмар"? Нет, никто!

Барский — единственный, кто забрел к нам в этот вечер на огонек. Сидел и измывался:

— Что, сионисты! Забыли про вас все! Ну кому вы все нужны? Кому? Революцию приехали устраивать?... А Нехемия? Гениальный человек! Хотите революцию? — Пожалуйста, — в Америку... Или вот как тебя — в Италию... Реформаторы! Иврит учите, ебена мать!

Наутро Нехемия лично принимал меня на улице Гимел. Шмулик ему позвонил и он тотчас ответил: "Пожалуйста, пусть заходит".

Он встал из-за стола и крепко пожал мне руку. — Давайте, Виктор, рассказывайте.

Пока я говорил, его то и дело вызывала междугородная.

— Кто? Вашингтон? Слушаю. Да, да. Это я, Нехемия. Шолом! Джексон? Ну и что Джексон? Пусть действует. А вам зачем тут шум? Неужели нельзя сделать все это с головой?

Он положил трубку, но тут же позвонил Лондон.

— Да, да. Это я, Нехемия. Не отпускают? Отпустят! А вы думаете, если мы им выьем стекло, то они наложат в штаны? Слушай, Ицик, ты же умный еврей, я просто не узнаю тебя!

Он положил трубку и посмотрел на меня из-под своего гигантского мудрого лба. Потом вдруг улыбнулся и сказал:

— Ну вот что, Виктор, хватит о делах. Главное — что развеялись. Обратили внимание, какие девочки в Италии? Ах, какие девочки!

Я почувствовал, что разговор близится к концу и спросил:

— Нехемия, а как насчет газеты?

— Газета? Какая газета? — На гигантский лоб Нехемии набежали складки.

— Как какая? Еврейская. На двух языках. Помните, мы еще в Вене говорили.

— Честно говоря — нет, — смотрел на меня светлыми дружескими глазами Нехемия и, неожиданно бросив взгляд на часы, сказал: — Знаете, Виктор, меня там люди ждут. У вас есть что-нибудь еще?

Я снова замялся:

— Понимаете, Нехемия, я взял из аэропорта такси...

— Такси оплатим, — продолжал он дружески смотреть на меня. — Кстати, как у вас с документами? В порядке?

Я не понял, о чем он. В комнату, словно угадав о чем у нас разговор, вошел мой старый знакомый Авраам.

— Приехал? И паспорт с собой? — пожирал он меня вопрошающим взглядом.

Я торжественно выложил на стол ему паспорт. А он — не менее торжественно — вручил мне семьдесят лир за такси от аэропорта до дома.

— А паспорт мы возьмем и вот сюда запрем, — приговаривал он в рифму.

Прошло года два. Мы уезжали с женой во Францию и начали оформлять документы. И вот здесь-то я подхожу к концу саги об иностранном паспорте, которая как-то сама собой сменила сагу о любви (то есть, конечно, не о любви — какая там еще любовь!) Помните, читатель, с чего я начал? С Пятой авеню, с письма "моей подруги детства", с Сюзи, с римских каникул, а чем кончаю? Вот в жизни всегда так. По крайней мере со мной. Разгонишься, воспаришь, а под конец грохнешься оземь. И ничего вроде и не было. Кстати, не было даже иностранного паспорта. И никогда я его не получал. И ни в какую Италию не ездил. Не верите? Позвонил я своему старому знакомому Аврааму на улицу Гимел:

— Кто-кто говорит? Перельман? — никак не мог понять он. — А по какому вопросу? Хотите за границу ехать? — Езжайте. Паспорт? Какой паспорт? Мы, знаете, паспортов не держим! Паспорта в министерстве внутренних дел.

## ДЯДЯ СОЛ

Как, по-вашему, читатель, о чем я думал, когда выходил от Нехемии Гидрона? Вы совершенно правы, мысли мои не блистали ни глубиной, ни оригинальностью. Тексты окончательно развеялись и, оказавшись перед лицом прозы жизни, я размышлял о том, чем мне теперь заняться на исторической родине.

Узнай о моих мыслях "Литературка" или "Известия", они бы не преминули вытащить на свет божий свой любимый "вы-

жаты лимон" — де, выжали из меня все без остатка и бросили на произвол судьбы.

Погруженный в эти мрачные раздумья, я вышел из автобуса в Рамат-Авиве и чуть не столкнулся лоб в лоб с моим венским знакомым преподавателем бухучета Эзахилом Коршенбоймом.

Из рассказа Хилла я понял, что профессора советского бухучета на нашей исторической родине нужны примерно так же, как и члены Кнессета и опреснители морской воды.

— Знаешь, Виктор, — басил над моим ухом Хилл голосом, каким он еще недавно читал лекции, — если бы не дядя Сол, мы бы просто протянули ноги.

Ах как много значит в нашей жизни случай и как мало цель и преднамеренность! Не упомяни Хилл в этот момент своего миллионера-дядю, у меня бы не родилась идея к нему пойти. А не пойди я к дяде Солу, я бы и по сей день таскался по разным мультимиллионерам в надежде раздобыть деньги на международную еврейскую газету. Дядя Сол был единственным, который чуть-чуть их не дал. Он почти их уже дал. И я почти стал редактором. Но поскольку в конце-концов все сорвалось, я до конца своих дней запомнил дядю Сола и даже благодарен ему.

Это был дядя моей мечты. Дядя из сказки. Дядя, подобных которому я не видел за десять лет моей эмиграции. Он и сейчас сидит передо мной, словно на сцене, — в отеле "Плаза", в маленьком креслице, восьмидесятилетний ангелок с венчиком седых волос на красном черепке. И не спуская с меня прозрачно-голубых глаз, тихо повторяет: "Да, я помогу вам, я обязательно вам помогу".

А может быть, во всем была виновата сидевшая рядом с ним тетя — третья жена дяди Сола и поэтому не доводившаяся Хиллу никем.

Да, он был миллионером из сказки, он снял своему племяннику Хиллу за пятьсот долларов в месяц квартиру в Рамат-Авиве и купил за десять тысяч долларов машину "Фиат", он обожал Израиль и был сионистом. Да что там сионистом! — дядя Сол был еще и писателем. Как торжественно сообщил

мне Хилл, он перевел с русского на иврит "Евгения Онегина". В этом месте я не выдержал и воскликнул:

— Сам перевел?!

Хилл посмотрел на меня, как на идиота:

— Для тебя это очень важно — сидел ли дядя со словарем Шапиро лично, или это сделал какой-то там Рабинович?

— Послушай, Хилля, так ведь это наш человек! — воскликнул я.

И чтобы не томить читателя, скажу: не прошло и недели, как с ледериновыми папочками под мышками мы с Хиллом бодро шагали по приморской улице Аяркон в направлении отеля "Плаза". В папочках лежал отпечатанный в восьми экземплярах бюджет международной еврейской газеты "Шо-ом". В отеле "Плаза", куда привела улица Аяркон, нас ждал дядя Сол и его жена тетя Бетя.

По дороге, чтобы уже все было ясно, мы поделили функции: я — главный редактор, Хилл — как бывший профессор бухучета — главный менеджер.

Решили, что, как редактор, докладывать буду я. И пока мы поднимались, Хилл давал мне последние наставления.

— Не забудь упомянуть, что ты сочувствуешь Рабочей партии и лично Голде Меир. Дядя влюблен в Голду! Да, о сионизме, побольше о сионизме! Дядя сионист. Газета исключительно сионистская и с предателями, которые едут в Америку, нам не по пути, — басил над моим ухом Хилл хорошо поставленным лекторским голосом.

Дядя Сол был божьим одуванчиком. Тетя Бетя казалась рядом с ним великаншей. Они ждали нас в ресторане отеля, заказав каждому по легкому диетическому завтраку — яичко всмятку и сдобная булочка с кофе.

Откушав, вся компания отправилась для делового разговора в номер. Дядя — хотя и ноги его не доставали до пола — величественно расселся в кресле. Великанша тетя пристроилась рядом, на стуле. Я расположился напротив и, раскрыв ледериновую папочку, хотел было переходить к делу. Но Хилл опередил меня и, словно с кафедры, начал:

— Дядя, если вы помните, я рассказывал о своем друге, известном журналисте и сионисте Викторе Перельмане.



Дядя Сол окинул меня внимательным взглядом своих чистых голубых глаз и почтительно мотнул головой. Да, он, конечно же, слышал об этом журналисте. В отличие от дяди, тетя продолжала изучающе меня рассматривать, желая, по-моему, в моем лице прочесть — что это за птица пожаловала ни с того ни с сего к дяде.

— Так вот, дядя, — продолжал Хилл, — у господина Перельмана есть идея создать в Израиле международную сионистскую газету на трех языках.

Дядя снова с почтением мотнул головой. А тетя еще глубже вперилась в меня своими маленькими хищными глазками.

— Теперь я предоставляю слово самому господину Перельману, чтобы он лично изложил вам свою идею.

Я построил свою речь строго по плану, утвержденному нами во время шествия по улице Аяркон, то есть начал с того, что в этой стране существует только одна партия и один великий человек — это Голда Меир. Распространению идей Голды и ее партии и будет служить наша сионистская газета. Бегина и Херут не подпустим и на версту.

Дядя еще раз глубокомысленно мотнул головой. В глазах его зажглось что-то живое, и он сказал:

— Да, я, кажется, помогу вам!

Я видел, как восторженно лицо Хилла и он повернулся к дяде Солу:

— Простите, дядя, если я вас на секундочку прерву и задам вопрос будущему редактору. Скажите, господин редактор, а вот если бы мы захотели перевести "Евгения Онегина" с русского на иврит, мы смогли бы это напечатать?

— Разумеется! — воскликнул я. — Но найдем ли мы такого специалиста?

Если мне не изменяет память, — загудел своим лекторским басом Хилл, — сам дядя мог бы тут нам оказать помощь!

— Да, я помогу вам, — сказал дядя. — Но вы мне не сообщили, сколько это стоит.

— Что "это", дядя? — насторожился Хилл.

— Ну это, как вы это называете — ньюспейпер.

Я почувствовал, как у меня застучало сердце. Никогда еще я не был так близок к заветной цели. Но сколько? Сколько

ему сказать? Нужно, как минимум, пол-миллиона долларов. Но разве я смогу выговорить эти пол-миллиона?

— Для начала мы могли бы обойтись сотней тысяч долларов, — не очень уверенно произнес я.

Дядя внимательно посмотрел на меня, затем на тетю. Тетя посмотрела на дядю. Потом оба посмотрели на Хилла. Хилл бросил взгляд на меня. Тетя снова метнула взор на дядю. И он чуть тише, но все же решительно произнес:

— Да, я помогу вам!

"Все. Пронесло", — облегченно подумал я. И вдруг услышал:

— Я помогу вам морально!

Не было сомнения — это произнес дядя и, испугавшись, что мы недопоняли его, спросил:

— Вы же знаете такое французское слово "морале"?

— Да, дядя, он знает это прекрасное французское слово, — печально подтвердил Хилл. — Это значит, что когда мы будем делать нашу сионистскую газету, вы нам будете говорить хорошие слова.

— Верно! — просияла вдруг тетя, лицо которой утратило настороженно-старушечье выражение. — Я тоже чувствую, что вы оба очень хорошие люди. И ты знаешь, Сол, я рада, что такие прекрасные люди едут в Израиль.

А дядя молча кивал головой и очаровательно улыбался. Напряжение спало. Моральная поддержка, то есть то, чего нам больше всего не хватало, нам обеспечена.

— Спасибо, дядя, — первым поднялся Хилл и надел свою велюровую шляпу. — Большое спасибо.

## ПОД ЗНОЙНЫМ СОЛНЦЕМ ТЕЛЬ-АВИВА

После моральной поддержки дяди Сола моя мечта о сионистской газете на двух языках несколько поблекла. Как поблекли мечты и других реформаторов, которых в Луде раскидал по разным концам страны Гоц и которых рассылал по

заграницам Нехемия Гидрон. Эта его страсть посылать нахлынувших из России реформаторов за пределы Израиля еще долго оставалась самым загадочным феноменом алии.

Так или иначе, наша революция выдохлась. Никто уже не собирался брать почту и телеграф. За отсутствием потребителей была положена под сукно блистательная идея опреснения морской воды. Молчали вернувшиеся из-за границы будущие члены Кнессета. Один только Изя Йонас еще долго шумел о том, что новым олим необходима культура и развивать ее прямой долг замминистра абсорбции Шлемы Розе.

Даже самые неистовые из реформаторов были только люди. К тому же они имели жен, куда более рассудительных, чем их мужья. Жены пилили их в одном-единственном направлении, не имевшем ничего общего с преобразованием Израиля, а именно — хватит заниматься большой политикой — пора наконец устраиваться. То есть получать квартиры, искать работу и, естественно, покупать необлагаемые налогом электротовары. Для этого нужны были ссуды, которые выдавал сохнутровский банк "Идуд" на улице Аленби. Но при условии, если были гаранты. Последних находили тут же, у входа в банк, где только и было слышно: "Гаранта ищут! Гаранта, гаранта! Товарищ, не станете гарантом? Вы — у меня. Я — у вас!"

Но это были лишь ягодки, вы еще только входили в джунгли абсорбции, в гуще которых, на улице Каплан, возвышалось величественное здание Сохнута.

Чтобы было только здорово государство Израиль, но в наше доброе старое время без этого учреждения нельзя было и шагу сделать в упомянутых выше джунглях. Без него и еще без министерства абсорбции.

Дорогой читатель! Вы ведь тоже эмигрант, неважно где, — в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, — эмигрант — везде эмигрант! Вы-то понимаете, о чем я говорю. Вот и представьте, каково было нам, первым — романтикам и реформаторам — униженно обивать пороги канцелярий. И, обливаясь ручьями пота, таскаться по знойному Тель-Авиву из министерства абсорбции в Сохнут, из Сохнута в банк "Идуд",

из банка "Идуд" снова в министерство абсорбции. О земля обетованная! Знойное солнце Тель-Авива...

Сколько интересных задач на сообразительность нам приходилось решать в те дни и как жалко, что вместе со мной не эмигрировал в Израиль мой знаменитый однофамилец Я.И. Перельман! И тогда, вслед за "Занимательной физикой" и "Занимательной математикой", пройдя под знойным солнцем Тель-Авива через Сохнут и подобные ему учреждения, он создал бы самый фундаментальный труд своей жизни — "Занимательную абсорбцию". О, это была бы книга книг! И ни к чему оказался бы "Справочник нового оле". И не пришлось бы нам так часто повторять о балагане в абсорбции.

Впрочем, я и сейчас умоляю вас не спешить с выводами. Отнеситесь к проблеме объективно. Я, например, даже слово "балаган" употребляю с большой осторожностью. Какой еще балаган? — когда сама Голда плакала, встречая новых олим и говорила, что это самый счастливый день в ее жизни.

Это было именно так. Голда приехала в аэропорт Луд. Вокруг все было украшено цветами. Это была не просто первая партия новых репатриантов. В Израиль после двухнедельного заточения в психушке прибывал знаменитый герой алии (и, как говорили, герой Советского Союза!) майор Гриша Майзлин.

В газетах называли эту встречу исторической. И если я хочу привести некоторые подробности, то вовсе не для того, чтобы подрезать ее участникам крылья. К тому же информация моя получена не из официальных источников, а от одного рижского еврея, Гришиного земляка. Он не пожелал открывать своего имени, но заявил, что он-то как раз и был мозговым центром этой встречи. А так как Голда в извилинах этого рижского еврея не нуждалась, то вся его мозговая энергия была направлена на помощь Грише Майзлину.

Короче, за сутки до его прилета этого еврея (когда-то кончившего рижскую гимназию) вызвали куда следует и попросили подготовить для героя речь, с которой он обратится к правительству Израиля и лично к Голде Меир.

Была тут, правда, некоторая заковыка. Герой должен был говорить на иврите. А так как в учреждении, куда вызвали еврея, не было уверенности, что Гриша владеет языком предков, то было решено написать для него ивритскую речь русскими буквами. Что этот еврей и сделал, но позже, по его собственным словам, чуть не получил инфаркт...

Аэропорт был украшен бело-голубыми флагами. Появление героя было встречено исполнением "Атиквы". И вначале Гриша, читая как подлинно государственный деятель по бумажке, что называется, превзошел самого себя.

От имени трех миллионов советских евреев он потребовал отпустить его народ домой. И все было бы в порядке, если бы организаторы встречи не задались целью порадовать Голду не только фактом приезда такого замечательного героя, но и его родившейся прямо в аэропорту правильной партийной ориентацией. Так вот, еврею, которого на всякий случай поставили рядом с Гришей, вдруг показалось, что именно в этом месте, когда зашла речь о партии, Гриша запнулся. И здесь-то у него сжалось сердце. Но он просто плохо знал Гришу и его ораторский талант, который с такой силой развился в Израиле. Пауза перед концом речи у Гриши была ораторским приемом, цель которого состояла в том, чтобы вызвать особое волнение слушателей.

И он достиг этой цели. Поблагодарив от имени трех миллионов советских евреев правительство Израиля и Рабочую партию, он на мгновение смолк... И воскликнул: "Да здравствует Рабочая партия! Организатор всех наших побед! Ура, товарищи! Эрец Исраелю!"

Говорят, что именно в этот момент в глазах у старой доброй Голды взблеснули слезы, а слушавший все это по радио Рувка Веритас сквозь зубы процедил: "Шмок!".

Наутро портреты героя появились во всех ведущих газетах Израиля. Журналисты спрашивали, намерен ли он выставить свою кандидатуру в Кнессет. На что Гриша, подумав, отвечал: "Посмотрим. Жизнь покажет".

Забегая вперед, скажу — Гриша и по сей день не является членом Кнессета, что свидетельствует о неблагодарности партии.

А что сделал Гриша для партии, — это уж я знаю лучше, чем кто-нибудь. Да если хотите, он меня самого чуть не вовлек в партию! В прошлых главах уже шла речь о нашей с Гришей встрече в Доме журналиста и даже упоминалось, как он мне бросил: "Кто не с нами, тот против нас". Но все это было позже, так сказать продолжение атаки. А началась она в первый же день, как только я появился в Бейт-Сokolов. Гриша подсел ко мне и, подозревая официанта Менаше, заказал нам по рыбе-фиш и стакану содовой.

— Виктор, я должен с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно, — начал он. — Я даже думаю, что разговор не для такого места, как это. Может быть, встретимся завтра, в партии?

В партии я встречаться отказался, и вечером Гриша пожаловал ко мне в Бейт-Бродецкий. В комнате, где была жена и дочь, он также говорить не стал, а предложил выйти в лобби.

Мы сели в кресла напротив друг друга, и он, сурово наступив брови, сказал, что очень много слышал о моей борьбе за алию и что люди, подобные мне, нужны партии как воздух. Если надо открыть газету, — партия откроет газету. Партия Бен-Гуриона не постоит ни за чем.

— В общем, определяться надо, Виктор, определяться. Ты, я вижу, хочешь подумать — подумай. Но знай, что с нами все, а с ревизионистами никто!

Он закурил и, словно что-то вспоминая, спросил, слышал ли я, что ему предлагают баллотироваться в Кнессет? Но для этого ему нужно срочно написать книгу "Мой путь в Рабочую партию". Материалов у него сколько угодно. Так вот, не соглашусь ли я стать его соавтором. Он будет выдавать мысли, а я буду оформлять их литературно. Башли пополам.

Я поинтересовался, на сколько страниц будет книга и тут же по лицу его понял, что этот вопрос поставил его в тупик. Он сказал, что все в наших руках. Но во всяком случае, не меньше страниц семнадцати-восемнадцати...

К чему я все это говорю? Во-первых, потому что на моей исторической родине меня никто и не думал бросать на про-

извол судьбы (и потому решительно протестую против сравнения меня с выжатым лимоном). А во-вторых, чтобы подтвердить, что партия и лично Голда Меир всегда были за алию и в любой момент были готовы выслушать суровую правду об отдельных трудностях абсорбции,

Известен лишь один случай, когда самообладание изменило Голде и она с присущим ей остроумием парировала нападки одного новоприбывшего писателя. Он уже давно был известен своими перехлестами, которые, может быть, и были уместны там, в Москве, где он справедливо назвал антисемитами ряд ведущих членов Союза писателей. Но со столь же гневными обвинениями он стал выступать и в Израиле. Он объявил бездушными чиновниками не только руководителей министерства абсорбции, но чуть ли не весь кабинет, возглавляемый Голдой, а по непроверенным данным, даже саму Голду.

Рассказывали, что именно в этот момент железная Голда потеряла самообладание и на своем сочном идише воскликнула: "Знаете что, уважаемый! Или вам не нравится, как я руковожу страной? Так давайте поменяемся местами. Я пойду на ваше, а вы на мое!" И каким же надо было быть нескромным человеком и какому бедламу царить на этом собрании, чтобы он, потрянув своей буйной шевелюрой, воскликнул, что он согласен. Да, именно так и сказал: "Согласен!" А Голда, уже успокоившись, криво усмехнулась и мотнула в его сторону головой: "Вы слышите, — он согласен, этот хохом!"

Другой раз нечто подобное произошло в кабинете Игаля Алона — тогдашнего министра культуры, который решил собрать у себя приехавших из России писателей и деятелей кино.

В это утро Веритас чуть свет поднял меня по телефону: "Виктор! Ты хочешь быть сегодня у министра культуры? По-моему он готов решить все наболевшие вопросы. Игаль Алон — это серьезный человек!"

К Алону шли целым шествием — Панич, Спильный, Йонас, Шлема Берелович. Не помню, кто был еще, но возглавлял

шествие другой московский писатель и сценарист. И произнес он перед Алоном на идише такую речь, по сравнению с которой (по словам тех, кто понимал идиш) меркла даже речь Цицерона против Катилины в сенате.

Прежде всего он воскликнул: "Зачем вы нас звали, если у вас нет работы? Зачем, зачем и еще раз зачем?!". Он тряс пальцем перед лицом министра на таком близком расстоянии, что, похоже, министр был более озабочен тем, как уберечь свой нос, нежели вдумываться в то, что выдавал ему на идише этот странный оле из Москвы, вообразивший себя Цицероном.

Чем далее он говорил, тем сильнее распался. В конце, когда речь зашла уже о его личных мытарствах, он тряс перед носом Алона двумя кулаками и повторял, что его, Алона, министерству никуда не уйти от ответственности перед историей за провал культурной эмиграции из СССР. И с трудом переведя дыхание, он тяжело опустился на стул.

В кабинете Алона стояла дикая духота, и, стирая со лба пот, министр не спеша заговорил на иврите. Переводил некий еще совсем молодой активист партии Боря Залманович, который представился заведующим русским отделом и который еще появится на сцене и, может быть, вызовет у нас не меньший интерес, чем сам министр культуры.

Алон сказал, что он и его товарищи по партии ждали эту алию из России десятки лет и что теперь страна переживает небывалый праздник, хотя еще и имеются отдельные трудности с абсорбцией работников культуры.

— Азохон вей, отдельные! — воскликнул на идише Цицерон.

Залманович поднялся со стула, по-видимому, чтобы успокоить страсти, а министр, сохраняя спокойствие, сказал, что он лично готов отдать все, что у него есть для того, чтобы помочь собравшимся. И в подтверждение прижал руку к сердцу. Но его возможности ограничены, и это должны понять товарищи, собравшиеся на этот душевный творческий разговор.

— Да нам жить надо, картины ставить! — снова кто-то перебил Алона.

Залманович, склонившись над его ухом, перевел. А министр, улыбнувшись отцовской улыбкой, сказал:

— Будем жить и будем ставить картины.

— А как все-таки насчет денег, адони министр?

Презренный металл явно поверг Алону в уныние, и он попросил перевести, что вопрос о деньгах зависит от министра финансов Пинхаса Сапира, но он обещает рассказать Сапиру об этом интересном совещании. Министр финансов такой же друг алии, как и он, сказал Алон и что-то шепнул мгновенно пригнувшемуся к нему Залмановичу. Тот с солнечной улыбкой сообщил, что время министра истекло, и он просит всех присутствующих извинить его. Игаль Алон поднялся и вышел.

Залманович, собрав со стола бумаги, направился вслед за ним и приветственно махнул всем нам рукой. Этот жест вызвал у Цицерона (который все еще не мог успокоиться) новый взрыв негодования, и он негромко покрыл обоих сразу — и Алону и Залмановича — четырехэтажным матом. Чем в свою очередь заставил Залмановича задержаться у двери:

— Друзья! Попрошу не выражаться, это же все-таки не мы с вами, а министр!

— Знаешь что, Залманович! Поцелуй-ка ты меня...

— Почему это я вас? Поцелуйте вы меня!

В лице Залмановича не дрогнул ни один мускул.

— Ну и пошел на хер!

— Почему это я, идите вы, — спокойно завершил Залманович и скрылся за дверью.

На следующий день в газете Рабочей партии "Давар" появилась следующая заметка: "Министр культуры Игаль Алон принял в своем тель-авивском офисе — в здании "Колбо Шолом" — группу новых олим — деятелей кино из СССР. Встреча прошла в исключительно дружеской, сердечной атмосфере. Новые олим поделились с министром своими творческими планами, а министр рассказал, какие меры намечаются для того, чтобы абсорбировать деятелей культуры из СССР. В заключение он пожелал присутствующим больших творческих успехов".

Из тех, кто был на совещании у Алону, самую головокружительную карьеру сделал его переводчик и активист Рабо-

чей партии Боря Залманович. Хотя для этого ему пришлось несколько раз изменить свою партийную ориентацию.

После того, как Рабочая партия "Авода" проиграла на выборах, Боря переметнулся к Бегину — на ту же должность зава русским отделом. Затем стал эмиссаром по русским делам у Флатто Шарона и, по слухам, даже ездил в Советский Союз спасать группу московских отказников. После этого его следы на несколько лет исчезли и про Борю начали говорить такое, что лучше не повторять вслух. Но все это оказалось чушью, и совсем недавно он вынырнул снова — и где бы вы думали? — в Сохо, у Барского! Как выяснилось, русскими делами он больше не занимается, а занимается развивающимися народами Азии и Африки. И в настоящее время является официальным представителем южно-африканской республики Бонвада в Израиле (или наоборот, представителем Израиля в республике Бонвада). Вот так, дорогой читатель! А вы говорите — культурная абсорбция! Я вас поцелую — вы меня поцелуете! "Юноше, обдумывающему житье, решающему делать жизнь с кого", — вот что бы я на вашем месте вспомнил, познакомившись с карьерой Бори Залмановича.

Всем нам, собравшимся в тот вечер у Барского, он раздал свои визитные карточки и сказал, что республике Бонвада срочно требуются четыре министра. Двое из них могут быть евреями.

## "АЛЬ ГАМИШМАР"

На другой день после совещания у Алону позвонил Веритас (он мне теперь звонил каждый день), но на этот раз был страшно возбужден — и сказал, что меня хотят видеть в очень серьезной ивритской газете.

— В какой? — поинтересовался я.

— Не все ли равно в какой, — уклонился от ответа Веритас. — Если я говорю — серьезная сионистская газета — ты можешь мне поверить.

Он сказал, что в Бейт-Соколов меня ждет Пончик и что он меня и ответит.

Пончик был маленький, круглый, с огромным животом. Лет двадцать назад он каким-то фантастическим образом перемахнул из Киева через Польшу в Израиль, служил на "Голосе Израиля" и весь день проводил в Доме журналиста. Именно здесь мы и встретились. Пончик дружелюбно сунул мне свою круглую, пухлую лапу, и мы поехали на автобусе в газету, где меня срочно хотели видеть.

— Послушай, Пончик, — спросил я его пока мы ехали, — ты не знаешь, что это за газета?

— Ай, оставь! Какая тебе разница! Что нужно бедному еврею? Кусочек хлеба и вагончик масла. За вагончик не ручаюсь, а на хлеб намажешь.

Мы приехали на улицу Бен-Авигдор, поднялись на второй этаж и оказались в редакции газеты Объединенной рабочей партии МАПАМ — "Аль Гамишмар", что означало — "На боевом посту". Название газеты было написано большими красными буквами.

Пончик ввел меня в небольшой зал заседаний, где я был встречен дружными аплодисментами. Каждый по очереди пожал мне руку. Потом из-за стола поднялся редактор и сказал, что товарищи хотели бы попросить меня сделать сообщение о положении советских евреев.

Когда я кончил говорить, ко мне подошел мой старый знакомый Моше Ландау, который чуть свет приезжал в Ашкелон взять у меня интервью.

— Ах как я рад, что вы, товарищ Перельман, будете среди нас!

А через несколько минут меня пригласил редактор и, как мне показалось, несколько взволнованным голосом сообщил, что в партии есть мнение абсорбировать меня как израильского журналиста.

В Бродецком первым же, конечно, узнал обо всем Марат Шатров. Он тихонько постучал к нам в дверь и, оглядев меня с ног до головы, нарочито трагическим голосом спросил:

— Скажи мне, Витя, это правда? — И как всегда, не дождавись ответа, воскликнул: — Да ты, бле, охерел, ей-ей,

охерел. Это же красная шобла! У них же портрет Сталина висел! Давай иди уж сразу к товарищу Вильнеру!

Я не стал отвечать и вышел в коридор. По коридору шла доктор-Клингер и, увидев меня, тотчас остановилась.

— Господин Пэрэльман! Что случилось? На вас же лица нет. Что произошло?

Я сказал, что меня приглашают в "Аль Гамишмар", и я просто не знаю, что делать.

— Что делать? Это вы меня спрашиваете, господин Пэрэльман? Идти работать! Вот что делать!

Я позвонил Веритасу. Он, как и утром, был взволнован, и сообщил, что ему только что звонил Шлема Розе. Шлема сказал, что у них в министерстве есть мнение абсорбировать меня как израильского журналиста.

— Будешь писать на иврите. Полноценный израильский журналист. О-хо-хо! Ты слышал об Эфраиме Кишоне?

— Послушай, Рува! У них Сталин висел.

— Виктор, оставь ты эти бегинские штучки! Какой Сталин?! Кто тебе сказал эти глупости? Это настоящая сионистская газета.

## ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИЛ

В июне 1974-го, после полуторагодового сидения в Бейт-Бродецком мы наконец переехали в постоянную квартиру, в один из северных районов Тель-Авива. Квартира наша была в четырехэтажном доме. По одну сторону от нас проходило шоссе Тель-Авив — Герцлия, а по другую располагался один из самых живописных районов города Хадар Йосеф. Живописен он был не своей природой и архитектурой, которые собой вообще ничего не представляли, а своими жителями. Это был район маленьких и бесконечно разнообразных бизнесов.

Здесь каждый абсолютно все знал о каждом, и никого ничем нельзя было удивить. Ну тем, например, что Шлема, у которого покупали фрукты-овощи, почти никогда не стоял у прилавка, а чаще всего, развалившись, лежал у входа, прямо на земле или на ступеньках, почесывая голое пузо и показы-

вая своим видом, что весь его бизнес не стоит того, чтобы проявлять малейшее беспокойство.

Самым деятельным среди всех был одноногий Попрыгун, или Попрыгунчик, — он вообще не закрывал своей лавки, торговал до поздней ночи, прыгая вдоль прилавка на одной ноге.

Почему-то больше всего сюда ходили автобусные шофера, чесали языки, играли до позднего часа в лото. Что они при этом пили и чем закусывали, — для меня всегда оставалось загадкой. Но что-то Попрыгун им подносил, и что-то они ему платили, и как-то это "Арагви" существовало, где по вечерам так ужасно горланили, но никогда не видели полиции.

В наших домах, расположенных по улице Минц, все было по-другому. Мы были знаком цивилизации.

Кто же обитал в Хадар Йосефе? Скажите лучше — кого здесь не было!

Моя мама родилась в Витебске, задолго до Октябрьской революции. Шлема приехал из Марокко и, наверное, вообще не слышал о Великом Октябре. Попрыгун родился в Польше, а его жена, которая могла часами сидеть и наблюдать, как он скачет на одной ноге, кажется, еврейка из Киева.

Наша семья из Москвы, а соседи под нами — Дымшицы — из Вильнюса. А под ними — Котловичи — из Румынии.

Я бы мог продолжить этот перечень, но и так видно, какие разные люди собрались в Хадар Йосефе. Не люди, а мечта. Мечта покойного Бен-Гуриона превратить Израиль в гигантский котел и переплавить в нем все десять миллионов галутских евреев.

Ко времени нашего переезда страна пережила войну Судного дня. За день до войны я сделал предсказание, после которого я уже никогда в жизни не возьмусь делать прогнозы.

Мы сидели на лавочке у входа в Бродецкий — я, Барский и Лева Гринберг — и болтали о всякой всячине. Был чудный вечер, и вдруг — я сам не знаю как — у меня вырвалось сногшибательное открытие:

— Вот говорят все: "Израиль, Израиль!" А Израиль самое тихое место на земле!

Стоял октябрь. Пели птицы. Цвели дивные розы. На дру-

гой день в два часа дня началась самая жестокая из всех израильских войн.

Не успела прозвучать первая тревога, как сложили монетки новые олим из Америки, приехавшие из чисто сионистских побуждений.

Олим из СССР с их вновь обретенной родины уезжать было некуда.

Однажды вечером к нам в дверь постучал Шатров. У него в руках был ворох тряпок. Он был явно навеселе.

— Итак, господа офицеры, графа Монте-Кристо из меня не вышло. Сегодня утром перешел в оправдому.

Марат говорил, что он не негр и не раб, чтобы вкалывать на этого эксплуататора Амарильо. Марат ему все прощал — и что он не знал русского языка, даже не мог выговорить слова "оле" — говорил "олэ", — что выдавал себя за друга алии, что был редкостный жучок (хоть бы раз башли вовремя заплатил!), — все мог простить Шатров Амарильо, но только не то, что последний оказался тайным членом партии "Авода".

Марат тут же на линотипе написал открытое письмо редактору газеты "Трибуна" — "С кем вы, господин Амарильо?" и передал его редактору. Тот прочел и сказал, что печатать письмо самому себе не собирается, чем окончательно вывел Шатрова из себя.

— Что-то я тебя, Амарильо, не пойму! Ты что же — против свободы слова? Ну тогда давай, линияй в свой Советский Союз!

При упоминании о Советском Союзе Амарильо сделался белым как бумага, ибо со дня рождения считал себя воинствующим антисоветчиком. Он сказал, что сей же час вызовет полицию и привлечет Шатрова за оскорбление личности. Вот тогда-то Шатров не выдержал и в присутствии двух печатников Моти и Пини и корректорши Марго заявил редактору:

— А пошел бы ты Амарильо на...

Я думаю, вам, читатель, понятно, куда именно Марат послал Амарильо? (Я просто не в силах больше повторять непечатные выражения своих героев.)

— А что было потом? — спросил я.

— А ничего, — ответил Марат.

— А полиция была? — спросил я.

— А тебе на что знать? — ответил Марат.

Я понял, что трудовые отношения между главным редактором газеты "Трибуна" Даниэлем Амарильо и его политическим обозревателем Маратом Шатровым навсегда прервались.

— Линять, господа офицеры, надо линять! — расхаживал Марат по нашей комнате. — Ну что слышно в нашей родной "Аль Гамишмар"? Сталина сняли? — повернулся он ко мне. — У, бле, кругом социалисты!

Месяц или два он не показывался вовсе, а потом явился торжественный, надушенный, при галстукке и при платочке, торчавшем из кармана все того же "валютного костюма" и заявил, что отбывает в Рим в распоряжение Хиаса.

— Карету мне, карету! Пойду искать по свету. А ты все в своей красной шобле служишь? Кибуцы — светлое будущее человечества. Если надоест — черкни: Нью-Йорк, Манхаттен, Марату Шатрову — пароходу и человеку. Понял? Вы у меня, бле, еще узнаете Марата Шатрова.

Вслед за Шатровым исчез и солист краснознаменного ансамбля песни и пляски Сапожников. Слухи о нем ходили самые противоречивые. По одним сведениям, он устроился в кибуц и там, перебрав на вечере Первомая, отдал концы. По другим — он дал дуба прямо на Дизенгоф. Зашел в кафе, рванул пузырек "Столичной" и там же за столом преставился. Проверить, что было правдой, не представлялось возможным, поскольку пианистка Лазебникова еще до его исчезновения слиняла в Штаты. То есть как слиняла? Совсем и не линяла. Просто поехала на гастроли — и не вернулась.

Изя Йонас, добрая душа, получил со своей семьей квартиру в Хулоне, в Кирьят Шарете. От Шлемы Розе, ставшего уже министром абсорбции, он больше ничего не требовал и за культурный застой ответственности не возлагал: их отделяло слишком большое расстояние — где Иерусалим, а где Кирьят Шарет!

Вскоре куда-то испарилась доктор-Клингер (то ли в Америку по делам советских евреев, то ли в Европу по трму же

вопросу) и теперь все философские проблемы алий со мной обсуждал Рувен Веритас.

Стоило мне появиться в кафе Дома журналистов, как он тотчас подзывал меня к столу. Колесо прекрасных былых бесед теперь вращалось назад. Он больше не говорил, кто из знаменитостей прибыл. Знаменитости исчезали. Исчезала и торжественность, с которой еще недавно говорил о них Веритас.

— Послушай, Виктор, что этот шмок, тоже уехал?

— Какой, Рува?

— Ну что ты не знаешь, этот артист погорелого театра из Ленинграда.

— О Рува, он же известный киноактер!

— Известный киноактер! Сколько я с ним возился. Они же с женой плешь проели Шлеме Розе. Ты знаешь, сколько он для них сделал? А этот, ну как его, сценарист — он такой же сценарист, как я скрипач.

— О ком ты, Рува?

— Что ты не знаешь? Этот шмок, который матерился у Игаля Алона? Ах, как он кричал у Алона! Дайте ему деньги и он перевернет мир! Ты знаешь, где он теперь?

— Мне говорили, что в Иерусалиме...

— Тебе говорили! Кто это, интересно, тебе говорил? Неделю назад его видели в Бруклине! Так его спрашивают: "Послушай, что ты здесь делаешь?" Ты знаешь, что он отвечает? — "Живу!" Он живет в Бруклине. Ассессор! Без него там евреев не хватает! Но это еще ничего. "Почему ты не хочешь возвратиться в Израиль?" — Так он ответил: "Пусть туда едет моя тетя Песя, а мне и здесь неплохо".

Кажется, я опять нарушил плавность рассказа. Начал с Бен-Гуриона, а чем кончил? Впрочем, все они оттуда же — и знаменитый киноактер, и известный сценарист, и пианистка Лазебникова (хотя каждый из них в глазах Рувы теперь только шмок), все они все из того же плавильного котла Бен-Гуриона. Так и вернулись непереплавленными в галут — туда же, куда уехал теперь и я.

Ох уж эта вечная еврейская дилемма — плавиться на своей родине среди таких же, как ты, или мерзнуть в одиночку



на чужбине. И, например, сидеть и стучать на машинке, как стучу теперь я, вспоминая пережитое, и слышать чужую речь и звон чужих колоколов, плывущий над Леонией.

Я схватился с местным полицейским, он сказал, чтобы я шел к своему ребе. Тупая. знакомая физиономия. Он уверен, что мой ребе в Израиле, и никогда не узнает, что мой ребе — во мне самом.

Я стучу на машинке и брежу наяву. Я прокручиваю пленку и живу новой жизнью — другая осталась там, в Тель-Авиве, с палящим солнцем, с глупыми чиновниками-пакидами, с Рувкой Веритасом и его шмоками — с такими же, как я, евреями. Но я не жалею; что прожил эту жизнь. Как не жалею, что родился в России. Ибо в отличие от моего соседа Винограда (который купил себе третью машину) я живу уже третью жизнь. И если бы начинал сначала, то молил бы Бога не менять мне линии жизни. Пусть будет все так, как было: от дикой дурной России к плавильному котлу Израйля и к тихому звону колоколов в Леонии. Впрочем, что мне эти колокола? Я тихо стучу по клавишам и думаю о том, что вот уже скоро конец спектакля — колокола, жар-птица, свобода, родина — слова, слова — а в мире, между прочим, есть только две ценности: тексты и человек. Человек и тексты. Третьего не дано.

Итак, я возвращаюсь в дом, где я жил с 74-го по 80-й год. Адрес знаете? Улица Бенъямин Минц, 10, Хадар Йосеф. Плавильный котел на четыре этажа, на самом верху которого разместились моя семья, а внизу подо мной мои плавящиеся братья-евреи, восемь братских семей, к рассказу о которых я и перехожу.

И начинаю с главного еврея нашего дома — рыжего, тучного, вечно всклокоченного, с маленькой ермолкой на огромной голове — с нашего еврейского Карабаса-Барабаса Залмана Дымшица.

Я и по сей день не знаю, как именуется учреждение, где служил Залман. Но если послушать его самого, то любая должность в Израиле, даже самого президента государства меркнет перед тем, чем с утра до ночи занимался Залман. Президент мог захворать, отбыть в отпуск. Президента могли

переизбрать — Залман Дымшиц в своей уникальной роли был единственным и незаменимым.

Чтобы не томить читателя, скажу, что на Залмана Дымшица действительно возложена функция, не знающая равных по важности — проверять кошерность всего поступающего в Тель-Авив мяса. Если послушать Залмана, то весь этот гойский мир только и вынашивал коварные планы забросить в Тель-Авив несколько тонн свинины и свести на нет дело его жизни.

Но все это было ничто по сравнению с тем, что он делал в Вильнюсе, где у Залмана было авторитета больше, чем у секретаря обкома Виляускаса.

В Вильнюсе он не только следил за кошером в синагоге, но и был самым опытным в городе мозлем-обрезальщиком. Кроме того, он был самым авторитетным шотхеном и самым прекрасным кантором в городе Вильнюсе.

По словам его жены Сары, к которой я вернусь несколькими строками ниже, Залман не знал покоя ни ночью ни днем. То — режь, то пой, то на дуде играй.

— Ах как все его уважали! — с трепетным восхищением рассказывала моей маме Сара. — И вы думаете, не знали про его проделки? Все знали! А что могли сделать? В Красную армию забрать? Законы мы соблюдали. На выборы ходили.

И далее начинался рассказ Сары о самой себе, рядом с которым история Залмана просто ничего не стоила.

В отличие от Залмана, она была не только неверующей, но еще и старым членом партии, к тому же членом домкома и товарищеского суда.

— Вы думаете это я, как сейчас, старая и слепая стала, — говорила она маме. — Поди-ка ты, слепая! Я ж комсомолка двадцатых годов. Я этому хулиганью такого дрозда давала, что они у меня на цыпочках ходили. "Тетя Сара, вы уж извините моего сыночка, на лестнице малость наделал". — Я те извиню. Ты правила соцобщестития читала? Что ж теперь каждый так и может серить в местах общественного пользования! Нет, голубушка, ты поди подотри, лестницу вымой и, пожалуйста, на комиссию.

Про свое активистское прошлое Сара могла рассказывать часами. Единственным и самым терпеливым ее слушателем была моя мама.

— У меня так, — продолжала Сара, — не хочешь соблюдать, пожалуйста, на товарищеский суд. А то как же — что мы при капитализме живем: каждый друг друга в суп норовит...

— Правильно, Сара, совершенно правильно! — подхватывала мама. — Я помню был у нас ответственный съемщик Федот Германович Чуверев. Мы с покойным Борис Борисовичем жили в самом центре, в Третьем Колобовском. Комната у нас была прекрасная — тридцать два метра, два окна. Ну так было восемь соседей — ну и что? Знаете, Сара, я очень не люблю эти разговоры: "Как вы могли жить с соседями?" Жили! Мне ничего плохого мои соседи не сделали. Ну так скажут иногда вслед "ваша нация"! Агицын паровоз! Так я тоже в долгу не оставалась. Однажды Чувереву прямо сказала: "Знаете что, Федот Германович, в нашей стране все нации равны!" Между прочим, я вам скажу, что с евреями тоже не всегда легко жить. Помню, была у нас в квартире Ида Соломонова с мужем — профессором Осокиным. Просто житья никому не давала. Между нами, она была племянницей Ягоды. Сейчас об этом уже можно говорить. И еще Колгушкина, но это была просто сумасшедшая, хулиганка. Но Федота Германовича они как огня боялись. Он был инвалид Отечественной войны с деревянной рукой. Так он завел такой порядок: после каждого заходить в места общего пользования и проверять. Один раз помню, Идочка не убрала, так Федот Германович спокойненько к ней постучал и говорит: "Мадам Розин, что это после вас там осталось? Он ее почему-то всегда называл не Осокиной, а по девичьей фамилии — мадам Розин. Так она попробовала возразить, как он смеет в таком тоне говорить с женой профессора Осокина? Знаете, Сара, что он ей ответил? "В нашем государстве, мадам Розин, все равны, прошу взять тряпку и вытереть, иначе я буду вынужден пригласить управдома".

Свои разговоры Сара и мама вели чаще всего у Сары на кухне. Седая как лунь Сара говорила, как на партсобрании,

почему-то всегда стоя, подбоченившись и уставившись в одну точку. (Может быть, оттого, что она была почти слепа.)

У мамы всегда болели ноги. Поэтому она сидела за столом и, идя вниз к Саре, прихватывала чашечку простокваши и, философствуя с Сарой, не спеша ее уминала маленькой ложечкой.

Рано или поздно разговор переходил к детям, к Сариним детям, к старшему Гришке и младшему Борьке — виолончелистам Израильского камерного оркестра под управлением Гарри Бертини. Они вечно где-то гастролировали: то по кибуцам, то по заграницам. С Сарой оставалась Гришкина жена Ева и их сын Мотке. Но где бы они ни были, Сара в любом разговоре возвращалась к ним: как они родились во время войны и как она стала водить их в музыкальную школу и как дала себе слово...

— И знаете, Полина, какое я себе дала слово? — В лице Сары просыпалось что-то юное, что-то от той вильнюсской активистки. Она подвигалась к столу, за которым мама мирно ела простоквашу и, глядя на нее в упор, повторяла: — Знаете, что я себе сказал? А вот угадайте!

— Ну что вы могли себе сказать Сара? Я же знаю, что вы очень хорошая мать.

— Нет, Полина, все это общие слова. Вы угадайте точно, что я себе сказала, — улыбалась Сара, не спуская с матери почти слепых глаз.

— Ну так уж точно я не знаю...

— То-то что вы не знаете! Никто на всем свете не знает. Вы думаете, мой старый дурак знает? Что он вообще знает?! А сказала я вот что: Гришка и Борька будут великие музыканты,...

Но зачем нам все это? — восклицает читатель. А затем только, что все это жизнь. Если хотите — тот же театр абсурда. Голда Меир со слезами радости встречает героя алии Гришу Майзлина. Мои коллеги открыли два новых издания "Петух" и "Стрелец". Я со своей правой рукой и замом выпускаю журнал "Время и мы". А старенькая мама и Сара говорят у Сары на кухне о том, что интересно им. Я понимаю, вас разд-

ражают их темы. Считайте, что вы ничего не слышали и что они беседуют о сокращении межконтинентального ядерного оружия - СОЛТ-2.

Каждое утро в черном облачении торжественно выходил из нашего дома рав Шустер, он же дядя Саня, новый оле из Франции, куда он еще двадцать пять лет назад перебрался из Сибири через Польшу. Дядя Саня служил в двух синагогах — в одной на полную ставку, в другой — по совместительству. Это был самый ученый еврей в нашем доме, о котором Сара, доводившаяся ему родственницей по линии Залмана, говорила, что он не простой раввин, а французский.

Наш сосед справа, инженер Рабинович, был настолько неслышен, что было бы справедливо сравнить его с мышкой. Он поднимался по лестнице почти на цыпочках, и о чем бы вы его ни спрашивали, в его интеллигентном лице вспыхивало выражение, способное быть расшифрованным одной-единственной фразой: "О, простите, но при чем же тут я?" Этих слов он никогда не произносил, и, возможно, они не пришли бы мне в голову, если бы однажды я не потерял ключ от входной двери. Мне не оставалось ничего другого, как перескочить расстояние в пол-метра с его балкона на мой.

Когда я рассказал Рабиновичу о постигшей меня неприятности, на лице его тотчас возникло знакомое мне выражение: "О Боже, но при чем же тут я!" А когда я сказал, что у меня остается единственный выход — перепрыгнуть с балкона на балкон, он испуганно воскликнул: "Ани ло ахраи!" — что в переводе на русский означает: "Я не ответственен".

Дальше произошло что-то невообразимое. Он бросился вслед за мной и стал умолять не рисковать жизнью.

— Нет, нет! — вскричал Рабинович. — Остановитесь!

Но было поздно. Я сделал решительный шаг в воздух, и ужасающий крик взорвал идиллическую тишину на улице Минц.

— Ани ло ахраи! Ани ло ахраи!

И даже когда я спокойно шествовал по своему балкону, с его, Рабиновича, стороны все еще доносился полный испуга шепот: "Ани ло ахраи!"

Наутро чуть свет нас разбудил звонок. У порога двери стояла сгоравшая от любопытства Сара.

— Послушайте! Что там у вас было? Грабители? Рабинович кричал как зарезанный!

— Ай Сара, оставь в покое людей, — взывал к ней с третьего этажа Залман. Уже седьмой час, ты же знаешь, что будет, если я опоздаю.

— Да отвяжись ты от меня! — не обращала на него внимания Сара. — Так что Рабинович? Жив или нет?

Она вошла к нам на кухню и, затеяв разговор, никак не могла его кончить.

— А я думала, что это происходит? Было часов двенадцать или час, и вдруг страшный крик. Я говорю: Залман, вставай и звони в полицию. А Залман дрыхнет и дрыхнет — это какой-то ужас. Однажды во время войны мы тушили на крыше зажигалки. Так вы не поверите, что случилось.

— Сара, ты меня убиваешь! — кричит снизу Залман.

— Да отвяжись ты.

Но тут уже не выдерживаю я:

— Сара, Залман и в самом деле может опоздать.

— Ну, ладно, ладно, — кряхтя спускается она к себе. Раз все живы — слава Богу. — А вот он и сам, герой! — восклицает она с новой силой.

— Кто там еще? Кто? У меня же будет инфаркт, — стонет на третьем этаже Залман.

— Кто-кто? Рабинович, — добродушно смеется Сара. — Вы что же вчера, товарищ, кричали как зарезанный?

— Я? — испуганно прижал руки к груди Рабинович, только что вышедший из своей квартиры. — Я просто сказал, что я не ответственен, — тихо объяснил он и быстро засеменял вниз по ступенькам.

На втором этаже открылась дверь и показалась фигура его соотечественника по стране исхода инженера Котловича, о котором я также обязан сказать несколько слов.

Хотите, читатель, узнать Израиль? — Терпите. Наше еврейское государство состоит не из одних героев и членов Кнессета.

Так вот, инженер Котлович так же, как и Сара, был общественником, но совершенно нового, западного типа.

Однажды Сара рассказывала, как в бытность свою агитатором будила людей голосовать. Она дубасила им в подъезд в 5 утра и кричала на всю лестницу: "Граждане, товарищи! Подъем! Все на избирательный участок! Раньше проголосуем — раньше отвяжутся!"

И так же подписывала на заем: "Граждане! Товарищи! Все как один подпишемся на нашу полную трудовую зарплату! Подпишемся, не подпишемся — все равно подпишут!" — И — эпическая сила! — восклицала она. — Подписывались! Подписывались все как один!"

Инженер Котлович вместо заема собирал взносы на уборку лестниц и зеленые посадки вокруг нашего дома.

У него был свой, особый, как колокольчик, звонок и свой особый, нездешний стук в дверь. К тому же у него была и особая поза и даже особое выражение лица, когда он являлся выудить у вас деньги на общественные нужды. "О, извините. Ради Бога, извините, — прижимал он ладони к груди. — Вы кажется, прилегли отдохнуть. Боже, как неудобно!" или: "О, извините! Вы, кажется, только сели за стол. Боже! Как я всегда не вовремя!"

Да, он был всегда не вовремя, ибо, если и существовало нечто такое, за что вы никогда не рвались уплатить, — так это зеленые насаждения, которые почему-то всегда плохо росли, и за уборку лестницы, которая почему-то всегда оставалась грязной.

Так что пусть приходит завтра, а лучше — послезавтра. Но он так нежно, на цыпочках входил в квартиру и так старательно помогал вам отыскать в списке жильцов свою фамилию, рядом с которой торчала едва видимая галочка, что в какой-то момент вы начинали чувствовать необратимость событий.

Далее все происходило, как на сеансе гипноза. Еще на что-то надеясь, вы начинали себя хлопать по карману, и — увы! — медленно извлекали чековую книжку. Это была сцена мимов. Он улыбался и бесшумно ворковал что-то под нос и тыкал

пальцем в цифру, что стояла рядом с вашей фамилией. И вы понимали, что не будет никакого "ни завтра, ни послезавтра" и обреченно выписывали 145 лир 50 агорот. И так каждого первого числа каждого третьего месяца.

— Спасибо, большое спасибо, — пятился к двери Котлович. Лицо его выглядело озаренным. — Ради Бога, простите. Боже, как я не вовремя!

Нет, он, конечно, был гений. Ибо если хоть раз в жизни вам приходилось собирать у евреев деньги на зеленые насаждения, то вы поймете что за работу он взвалил на себя и с каким потрясающим изяществом ее выполнял.

Итак, в нашем вполне интеллигентном доме текла тихая благополучная жизнь. Залман стоял на страже кошерности мяса. Дядя Саня служил по утрам службу в синагоге. Сара и мама вспоминали минувшее. Рабинович и Котлович уезжали к себе на фирмы, а я работал в своей социалистической газете "Аль Гашишмар".

Жила в этом доме и еще одна семья, которая принадлежала выходцу из Аргентины дону Марисио. По советским понятиям, дон Марисио был типичным тунеядцем, ибо никто и никогда не видел его работающим. Ходили слухи, будто имеет он текстильную фабрику, на которой вечно сбивалась с ног его молодая и высохшая от каторжного труда жена Ариэлла.

Сам же дон Марисио — дородный голубоглазый рыцарь — из дому почти никогда не выходил, а если и выходил, то лишь по вечерам. Садился в свой "Форд" и уезжал в неизвестном направлении, а возвращался далеко за полночь в машине, набитой неизвестным товаром, который тотчас перегружался в другую машину, обычно его сопровождавшую. И теперь уж эта другая скрывалась в неизвестном направлении.

— Вы как хотите, — сказала однажды Сара, — но, по-моему, дон Марисио занимается грязными делишками. Ох нет на него ОБХСС!

Во всем прочем к дону Марисио не было никаких претензий, и бунт, который сотряс наш дом, исходил совсем не от него. И, конечно же, не от Рабиновича с Котловичем. И вообще не от перечисленных мною жильцов дома.

Бунт, как все на свете бунты, начался в низах, на первом этаже, где который уже год проживали тихие религиозные выходцы из Персии.

В доме с этой многодетной экзотической семьей никто отношений не поддерживал, пока однажды в нашу дверь не позвонил Котлович и с тысячами извинений не сообщил, что персы не хотят платить за насаждения.

Нет, это еще не был бунт. Просто из квартиры № 1, где жили персы, стало пахнуть гарью.

Бунт произошел позже, когда внизу построили стеклянную дверь и сделали новую систему сигнализации. Дверь просуществовала до первого шабата. В шабат кто-то из персов закричал, что сигнализация нарушает святость субботы, и мгновенно в стеклянную дверь полетел булыжник.

А еще через час по дому разнесся ужасающий женский крик. Я бросился вниз. Все жильцы нашего дома сгрудились у распахнутой двери квартиры № 1 и с ужасом наблюдали, как глава семейства в тюбетейке и трусах гонялся с ножом за своей истощенно кричавшей супругой.

Последняя вела себя более чем странно. Она истерически кричала, что ее убивают и при этом на иврите причитала: "Ани мета! Ани мета!" (что в переводе на русский означало: "Я умираю"). Но стоило ей оторваться хоть на шаг от преследовавшего ее главы семейства, как она, задрвав юбку, показывала ему зад.

— Товарищи, надо срочно вызвать полицию! — заявила Сара, не подозревая, что Котлович это уже сделал.

Но полиция, как всегда, задерживалась. Наконец подъехал джип, из которого вылез огромного роста полицейский, судя по всему, марокканский еврей, и не спеша направился к подъезду.

Подозрительно оглядев собравшихся, он спросил, в чем дело?

— А вот в чем, — сардонически усмехнулась Сара и кивнула ему на раскрытую дверь, где только что блеснул голый зад супруги перса и лезвие его ножа.

Увидев полицейского, она оправала юбку и горько навз-

рыд заплакала. Нож мгновенно исчез, и глава семьи, смахнув тюбетейкой со лба пот, стал быстро натягивать брюки.

Полицейский снял фуражку, почесал затылок и спросил:

— Кто вызывал полицию?

— Я, господин полицейский. Я, — быстро проговорил Котлович. — Тут, понимаете, такая история...

— А по какой причине вызывали полицию? — обратился теперь уже марокканец прямо к Котловичу.

— Нет, вы слышите! — воскликнула Сара, — он еще спрашивает, по какой причине! Да он ей голову хотел отрезать!

— Кто кому хотел отрезать голову? Фамилия? Адрес?

— Да вот этот бандит в тюбетейке, — кивнула Сара на перса, который уже вполне оправился и даже надел белую сорочку и галстук. Под взглядом полицейского он заулыбался, стал пожимать плечами.

— Че улыбаешься?! — закричала на него Сара. — А ты что молчишь? — набросилась она на его супругу, которая стояла переминаясь с ноги на ногу и улыбалась точно такой же улыбкой, как ее муж.

— Господин полицейский! — продолжал Котлович. — О Боже, я знаю, что в это даже трудно поверить, но за минуту до вашего прихода тут была поножовщина!

— Поножовщина!? — насупил брови полицейский. — А ну, где нож? Прошу добровольно сдать нож органам полиции!

Перс снова заулыбался и энергично захлопал себя по карманам брюк.

— Да он его, обормот, под подушку спрятал! — воскликнула вышедшая из себя Сара.

— Сара, замолчи! — гаркнул на нее Залман. — Не пойман — не вор!

Полицейский что-то передал по рации, висевшей у него на плече и сказал, что полиция в семейные дела не вмешивается. И окинув всех нас взглядом, добавил:

— А к вам, граждане, просьба — жить дружно и не нарушать порядка. Посмотрю я на вас — все вы хорошие евреи, а тут — чуть что — сразу же в полицию. Будто у израильской полиции нет других дел.

Он поочередно пожал нам всем руку и крепче всех Котловичу. Все разошлись. Шабат уже давно кончился. Небо Хадар Йосефа было усыпано крупными, южными звездами.

И вдруг мне показалось, что весь этот только что разыгравшийся у персов скандал мне просто привидился. Настолько все тихо и блаженно было вокруг.

Ночью я проснулся от ужасного крика: "Ани мета! Ани мета!" Я даже не стал одеваться, а просто перевернулся на другой бок.

Утром, на планерке в газете, я рассказал все, что происходит в нашем доме по ночам. Все долго смеялись, потом главный редактор сказал, что все это для отдела юмора, а у МАПАМа есть и посерьезнее задачи: голосование в Кнессете показало, что не исключен раскол с Партией труда.

— А для вас, Виктор, у нас тоже есть тема. Приближается двадцать седьмая годовщина образования государства Израиль, может быть, сделаете статью о дружбе олим из разных стран. Ну, хоть возьмите дом, в котором вы живете.

— Но персы же, персы!

— Во-первых, это не персы, — на лице редактора не дрогнуло ни один мускул, — а такие же евреи, как мы с вами. Во-вторых, они живут с вами в одном доме. В-третьих, хотите — продам заголовок: "Дом, в котором я живу"!

Впрочем, теперь все это дела давно минувших дней, ибо в доме, где я когда-то жил, почти никого не осталось. Три года назад умерла активистка Сара. Где-то в Америке исчез вместе со своим таинственным бизнесом дон Марисо. Молчали телефоны у Рабиновича и Котловича. Из бывших жильцов нашего дома остался лишь вдовец Залман. Но и с ним мне увидеться не удалось из-за эпидемии гриппа.

— Нет, нет! — услышал я в трубку. — Еще заразите! А у меня работа! Сами знаете, какая работа!

...Опускается занавес. Стареющий рыжий Залман последним уходит со сцены. А я снова возвращаюсь в страну высшей цивилизации. И снова из кабинета вижу дом своего соседа Винограда. Все меняется в жизни. И он больше не сдувает пылинки со своей новенькой "Субары", а, искупав ее под душем, долго нежит в мохнатом банном полотенце.

*Окончание в № 76*



*Андрей НАЗАРОВ*

## БЕЛЫЙ КОЛЛИ

*Рассказ*

У Алекова была собака, шотландская колли, и вечерами он читал ей сказки. Были плотно зашторены окна и печально склонена лампа, и тонкая струя дыма над забытой сигаретой распадалась и таяла в зеленом тинном свете. Альма опускала голову на скрещенные лапы и поводила ушами, улавливая ладовое течение его голоса, многообразные шорохи дома и ту таинственную жизнь, что совершалась в ее теле.

С тех пор как в присутствии профессиональных наблюдателей произошло интенсивное грехопадение Альмы с элитным кобелем, лауреатом и призером, зашторенная жизнь Алекова приобрела непривычное общественное значение. Никогда прежде не занимавший воображения современников, Алеков был захвачен вихрем разыгравшихся вокруг него интриг. Причиной их послужил раскол, назревавший в Клубе служебного собаководства, где была зарегистрирована Альма.

Группа владельцев собак, возглавляемая владелицей элитного кобеля, требовала отмены испытания овчарок на злоб-

ность и проведения экспертного отбора исключительно по экстерьеру. Элитная дама, смело бросившая вызов традиционному натаскиванию на человека его лучшего друга, осуждала порочную практику Клуба, как несоответствующую нравственному климату нашего общества, закрепленному в.\* При этом она ссылалась на последовательно сменявшие друг друга — торжественные, твердые, возможные и отдельные — провозглашения, решения, разрешения и допущения,

Оппозиция настаивала на пересмотре Устава и уважении принципов собачьей демократии, вплоть до самоопределения и выхода из Клуба, возглавляемого майором в отставке.

В ходе фракционной борьбы клубная очередность записи на щенков была нарушена, и обе стороны искали частного влияния на Алекова, чтобы, завладев альминими щенками, пополнить ряды своих сторонников.

Телефон отдела Моспроекта, где служил Алеков, стал проводником идей, сплетен и тайн собачьего мира. Угрюмые ставленники тоталитарной кинологии, изъяснявшиеся военизированными басами, сманивали Алекова разговорами о сохранении вида, святости служебных традиций и больших медалей.

Алеков робко соглашался, но не успевал повесить трубку, как раздавался звонок либеральных сторонников элитной дамы.

Они говорили о свободе выбора и нетерпимости догм, они призывали проявить и последовать. Они рассказывали о необычайном экстерьере кобеля, лауреата и призера, его скромности и христианской терпимости, проявившихся с раннего детства, и о связанных с его именем надеждах широкой собачьей общественности. Алекова они поощрительно называли родственником этого подлинного гуманиста, отчего алековский нос произвольно вздрагивал.

— Классицисты и романтики, — классифицировала конкурентов секретарша Лидочка, учившаяся филологии в заочном пединституте.

— Монтекки и Капулети, — говорил Федор Грибов, находившийся в особой вражде с тещиной родней.

— Жулики, — сухо замечал Китаев.

\* Так в тексте (Д.Т.)

С каждой неделей борьба разгоралась, и, услышав телефонный звонок, Федор Грибов ставил на Алекова кружку пива против Китаева, ставившего на секретаршу Лидочку, и выигрывал от трех до семи кружек в день. Сухарь Китаев отдавал мелочью.

Приходили просить щенков и коллеги из смежных отделов, и Алеков впервые обнаружил, как много у него знакомых. Коллеги убеждали занять позицию и сделать шаг. Алекову было грустно без позиции, но и шага он сделать не решался. Он темнил, ссылаясь на то, что рано, дескать, распределять неродившихся еще щенков, или вовсе отказывал в просьбах, справедливо подозревая в коллегах агентов враждующих собачьих группировок. Но популярность Алекова продолжала возрастать и даже приняла совсем странные формы.

Приходили сотрудники, не имевшие к собакам никакого отношения и приносили на подпись бумаги. Это были невиданные бумаги в защиту таких-то от преследований тех-то, в осуждение тех-то за осуждение таких-то, наконец, призывы к тем-то опубликовать призывы таких-то.

Алекову казалось, что он сходит с ума, и он незаметно трогал сотрудников с бумагами — не приснились ли — но сотрудники были теплые, существовали в яви и даже свободно бегали по коридорам. И оторопевший Алеков подписывал, чем вызывал всеобщее восхищение, не распространявшееся, правда, на работников отдела, вероятно, потому, что они видели его каждый день на протяжении многих лет.

Между тем естественным ходом вещей борьба за щенков подходила к окончанию, и в бой вступали главные силы.

Первой звонила элитная дама с напористо-доверительными интонациями и уверяла Алекова, что ей все известно, что он передовой человек, но просто стесняется, что все им восхищены — и она больше всех, — и поэтому он должен занять позицию. Подавляя нечленораздельные алековские возражения, дама утверждала, что мы защитим, не дадим, наконец, обратимся в.

— Взгляните за окно — их время минуло! — энергично закончила дама и повесила трубку.

Алеков уныло взглянул в сумеречное окно на площадь Маяковского, над которой уже засветился неоновый лозунг, сообщавший: "Нынешнее поколение советских людей будет ...ить при коммунизме!"

— Жить, — доверчиво прочла Лидочка.

— Пить, — возразил Грибов.

— Возможны варианты, — сухо сказал Китаев.

Алеков хотел добавить что-то свое, но тут снова зазвонил телефон.

— Без вязок оставлю! — обрушился на него из телефонной трубки отставной бас начальника Клуба. — На бобы со своей сукой сядете! Щенков отдать в порядке очереди! Ишь, веяния развели! Мы, вот, покажем веяния! Собака не игрушка, а животное для исполнения! Ясно? Приступайте!

Измученный Алеков тайно покинул учреждение задним выходом снабженческого отдела, купил фосфор для Альмы и бублики к чаю и поехал через весь город в квартиру номер 1, корпуса 2 типового дома 3, серии 4-5/6 на улице 7 микрорайона 8.

\* \* \*

Свою однокомнатную квартиру в новом районе Алеков получил три года назад и выпил на новоселье три рюмки польской водки, отчего приснилась ему старинная монета. Вначале, в детстве, он до блеска стачивал ее о подножье памятника, а потом вырос, спохватился, но прежнего рельефа уже вспомнить не мог. Он всматривался до рези в глазах, до медного привкуса во рту, но монета необратимо тускнела и гасла.

На другое утро похмельный Алеков ехал на работу с нового места и тщательно приглядывался, чтобы запомнить дорогу. "По камешкам и вернулись домой Ваня с Машей", — вспоминал Алеков русский вариант французской сказки и улыбался.

Во дворе массивным квадратом лежал сырой снег, и Алеков явственно различил в нем бесцветные кристаллы. Черные ручьи подмывали снег и вытекали на улицу. Алеков выскользнул следом — и запнулся, забыл идти дальше.

Стена надвигалась на него — бетонная стена типовых блочных конструкций, над расчетами которых проходила алековская жизнь. Взгляд скользил по единообразным плоскостям домов не цепляясь, вызывая головокружение, и Алеков поспешил отвернуться, но и позади него, словно отражение в свинцовой воде, стояли бетонные клетки — сомкнуто и страшно. Алеков засуетился, выбираясь, как из приснившейся смерти, и был тут же смыт спасительным потоком людей, текущим по тротуару.

Алеков никогда не видел, чтобы столько людей шло в одну сторону, и никто — навстречу, и так был изумлен, что сбился с ноги и получил весомый толчок в спину. Алеков засеменял, стараясь не наступать на чужие пятки, а потом снова попал в общий успокаивающий ритм и шел, слушая, как расползается и приглушенно чавкает под ногами грязь, шел — и не было никого навстречу.

Темный ручей жался у тротуара, ограничивая движение людей, а потом гулко падал в сточную решетку, взбивая над ней шевелящуюся рыжую пену. За поворотом Алекова плотно прижали к большой спине, приподняли и опустили в узкий лаз метро.

Впечатления этого дня, не вместившись полностью в алековское сознание, побудили его, однако, к покупке сводной решетки отечественного производства на окно первого этажа и записи на ценка шотландской колли, впоследствии названного Альмой.

\* \* \*

Кто-то рвал алековский чертеж, и это было непереносимо. Алеков прислушался, подскочил на неразложенном диване и мигом скользнул в переднюю по лакированному полу.

Альма лежала на боку, тяжело поводя вспухшим животом, и частыми рывками запрокидывала узкую морду, словно хотела оторваться от своего измученного тела. Ритмичное усилие вздувало ее горло, и хриплое дыхание разносилось по квартире со звуком разрываемой бумаги.

Алеков приподнял миску с водой, но судорога передернула Альму, вода пролилась, и звеня покатила по полу



миска. Алеков подхватил ее, побежал на кухню и, облив китайскую пижаму, снова наполнил. Альма выпила, дыхание ее улеглось и просветлевшие глаза нашли Алекова.

Сидя на корточках, Алеков гладил свою собаку, а потом замерз и побежал одеваться. С сухим потрескиванием скользнула в пиджак синтетическая сорочка, казалось, снопы искр высыпят из рукавов — "Как из левого рукава, как из правого рукава..." Вместо искр высунулись из рукавов знакомые вялые руки.

Альма заскулила снова — тонко, по-детски однообразно. С болезненным состраданием глядел на нее Алеков, а она заваливалась на бок и сучила лапами, стараясь удержаться.

И вдруг отшатнулся Алеков, поняв, что вот так умерла его Вера, и увидел ее — измученную, белую, чужую — за окнами предродовой. Уже стояла зима, такая ранняя в тот год зима, а он висел на оконном пролете, и немели пальцы, и он сползал, обдираясь о стену, и запрокидывал голову, чтобы удержать ее уплывающее лицо, и сползал, и не за что было уцепиться...

Стрелка настенных часов кольнула Алекова, он ощутил пробежавшую по спине электрическую дрожь и выскочил на улицу, уже включенным в текущий день. Но образ жены за зимним окном не отпускал Алекова. Понуро спустился он в незамысловатую дыру своей современной станции и столь же понуро вылез из подземного дворца на Маяковской, и мимо памятника прошел равнодушно, не остановился, не посмотрел вверх на бронзовые штанины.

Синий циферблат "Пекина" замыкался на без четверти девять, когда Алеков вошел в отдел.

— А-ле-коо, — привычно затянул Федор Грибов арию из одноименной оперы, в которой персонажи жаждут свободы вместо денег и цепей, по мотивам Пушкина.

Алеков не ответил, и стало тихо.

— Уже? — спросила Лидочка.

\* \* \*

На стук двери Альма вскинула голову, и по ее кроткому взгляду Алеков понял, что роды миновали. Альма отверну-

лась и точными частыми движениями принялась вылизывать щенков. Алеков опустился на колени и, загнанно дыша, потянулся к влажным тельцам, жавш имся у живота матери.

Алеков увидел его сразу. Еще не прояснились мысли, еще ничего не понимал Алеков, но видел — непоправимое. "Настал день — и всему кончина", — говорила когда-то мать. Видел Алеков — настал — и прижимал к груди скачущие руки. Четверо щенков лежало возле Альмы, и один был белым.

Алеков грубо схватил его, и Альма зарычала. Щенок беспорядочно перебирал лапами и незряче тянулся из руки. Ни одной подпалины не было на его шерсти. Щенок был ослепительно бел и казался много крупнее остальных. Щенок был — другой породы. Алеков отпустил его, вошел в комнату и упал в кресло.

Белых колли не существует, это Алеков знал точно. Щенки родились не от элитного кобеля, лауреата и призера. "Но как это случилось? — от кого, когда? — лихорадочно спрашивал себя Алеков, время от времени восклицая в тональности заключительного акта шекспировской драмы: — И я позволил!"

Он закурил, жадно втягивая дым, и вспомнил, что в конце лета, в дни, предшествовавшие альминой случке, он находился с ней на даче Федора Грибова. Теперь ему определенно казалось, что он видел там пса, без дела слонявшегося вокруг дома, — нечистокровное и совершенно белое животное. Но Альму он не выпускал ни на минуту.

Алеков помнил террасу с выбитыми стеклами, грибовских детей, засахаренную наливку, которую разводили водкой, и то, что в одной пуле он отдал три чистых мизера, а четвертый, без семерки в пиках, решил не отдавать и схватил три взятки. Во все это время Альма дремала у него в ногах, пока... "Вот оно, — вспомнил Алеков. — Бюст!"

Несчастливая страсть сгубила Алекова. С детства своего, прошедшего в тридцатые годы за игрой в шпионов и вредителей, боялся Алеков бюстов, боялся генетически, парализующим душу страхом, но пересиливал себя, отчаянно, как к пропасти, подходил к гипсовым, каменным, бронзовым или мраморным изваяниям и делал что-нибудь — язык показывал или щипал.

За исключением этой черты, Алеков был нормален в той же степени, как была нормальна сама жизнь, и целиком растворялся в тех пионерских, комсомольских, профсоюзных, осоавиахимовских и иных формах, которые она принимала.

Наполненная богатым содержанием классовой борьбы, жизнь настолько часто и круто меняла героев на врагов, что Алекова укачивало и ощущал он себя отчасти в небытие. Это состояние разделяло с ним множество еще живых, а также большинство совсем мертвых современников, и даже переиздававшийся многотысячными тиражами крошка-сын, настойчиво спрашивавший отца о том, что такое хорошо и что такое плохо, ни разу не спросил, куда подевался сам отец.

Так Алеков и вписывался в повороты новейшей истории, зарабатывая на всех уровнях общения репутацию упругой посредственности. И только наедине с бюстами неудержимо распрямлялась в нем задавленная потребность жить и осуществляла себя через ужас кощунства.

Вот эта сладость осуществления и вернулась, ознобом пробежала по спине, когда сказал Грибов о бронзовом бюсте, что валяется на чердаке и ждет, дескать, своего часа.

Бросил Алеков карты, полез на чердак и, разбросав хлам, извлек бронзового идола, обтер рукавом, да так и замер с ним на коленях. Потом щелкнул по нему согнутым пальцем — и отозвался бюст, загудел протяжно и угрожающе, смешав хрупкие алековские представления о времени и пространстве. Вот тут, наверное, и снюхалась с нечистокровным животным забытая Альма.

Алеков затушил сигарету и снова начал рассматривать щенков. Он клал их по очереди на ладонь, потом переводил взгляд на Альму и, казалось, видел одну собаку с разных концов бинокля. Алеков любовно гладил рыжих щенков, враждебно косясь на вызывающе белого монстра, пытавшегося укусить его за палец.

"Как меня подвели! Ах, как меня подвели! — повторяла умилительная жертва собачьего адюльтера. — Все теперь отвернутся, а ведь восхищались, позицию занять просили. Репутацию кобеля, лауреата и призера, подмочил непоправимо. Отомстит мне элитная дама, с грязью смешает.

Но что дама — майор! Вот от кого беды ждать. Рявкнет, что испортил суку, не даст больше Альма породистого приплода. В вязках навсегда откажет. Еще бы дела не завел. Очень просто — сообщит, что гражданином Алековым испорчена потенциальная сука-медалистка. Нанесен удар по отечественной кинологии. Налицо попытка врага морально и физически разложить поголовье верных стражей революции — служебных собак. А "если завтра война? Если завтра в поход?"

Саморазоблаченный Алеков взял руки назад и задрожал. В уме его уже складывалось последнее слово, в котором он ссылался на торжественные допущения, отдельные провозглашения и даже приказы долго ить при коммунизме.

Ободренный последним приказом, Алеков подумал, что сгущает краски и мыслит явно не в ногу с эпохой. Повеселев, он с некоторой развязностью попросил прокурора и граждан судей взглянуть в окно, и даже сам взглянул, но увидел клетки решетки, за которыми ничего убеждающего не происходило.

Тогда Алеков на всякий случай признал наличие состава преступления, но просил о смягчении, отрицая, что окончательно погубил Альму для отечественного собаководства. Он просил суд заслушать показания реабилитированных генетиков, свидетелей защиты.

"Приобретенные качества не наследуются! — восклицали недавно восстановленными голосами гипотетические генетики. — Доводы обвинения не соответствуют науке!"

"Да, не соответствуют! — громил государственный обвинитель слабые доводы защиты. — И скажите за это спасибо нашей социалистической законности! Когда обвинение соответствовало науке, где были вы сами, граждане генетики?"

Суд удалился на совещание, оставив Алекова наедине с бездонной ночью. Не раздеваясь, просидел он в кресле, уйдя в него целиком — с сомнениями и ногами, — а потом задремал и преследовал нечистокровного обольстителя, а тот прятался от него за бюст, кокетливо прикрываясь пиковой семеркой.

\* \* \*

Таяла ночь, тихо проступала на шторах тень сводной решетки.

— Пора, — решил Алеков, очнувшийся из сна с ожесточенной душой насильника.

От Альмы тянуло теплом. Алеков отодвинул ее, почувствовав твердую выпуклость сосцов, и ухватил белого щенка. Альма беспокойно фыркнула. Алеков погасил свет и быстро вошел в комнату. Щенок вздрагивал и пищал. Тревожное нетерпение росло в Алекове. На глаза попалась стопка копирки, он прижал к ней белого щенка и обернул верхним листом, но тот дернулся, стопка соскользнула со стола, и шелестящие тени наполнили комнату. Алеков ловил их, наматывал на щенка, а потом стянул тесемкой из золотистой фольги и скрепил бантиком, как подарок.

Отдышавшись, Алеков сунул сверток в портфель и вышел, не простясь с Альмой. Остановившись у приоткрытых подъездных дверей, он просунул между ними голову и воровато огляделся.

Жидкий призрачный костер горел посреди двора, и Алеков пошел на него мотыльком. Алеков любил костры, смотрел на них подолгу и говорил, что только огонь никогда не повторяется.

Неслышно подошла дворничиха Степановна в неестественно новом синем ватнике.

— Вот, однако, указ какой — листья жечь, — сказала Степановна, грустно шаркнув метлой, — а рази грязь — лист-то? Однако, доплата, вот и пали.

Алеков молчал, созерцая.

— А что без собаки? — спросила Степановна.

— Щенится, — ответил Алеков, настораживаясь.

— Дело житейское. — Степановна вздохнула. — Щенят топить будешь?

Алеков оторвался от костра и побежал к стоянке такси.

— На мост, — сказал Алеков, просовываясь в машину.

— На какой? — лениво спросил шофер.

Названия мостов вылетели из головы Алекова. Он не проектировал их и ничего о них не помнил, кроме сомнительной песенки, предлагавшей дожидаться счастья у разведенного моста.

Уловив подозрительный взгляд шофера, Алеков застеснялся, но вспомнил о кинотеатре у моста и сказал, слегка подпрыгнув:

— К "Ударнику"!

Он вздрагивал в легком ознобе, поминутно ощупывал ногой портфель со щенком и глядел в окно, ничего не узнавая. Наконец, шофер остановил машину, Алеков сунул ему пятерку, сдачи не взял и пошел на гребень моста.

"Никак топиться шлепает, — думал шофер, оценивая алековскую спину через зеркальце заднего вида. — Ну, дает, шляпа, ну дает!"

Не выпуская из вида фигуру с портфелем, он подал машину назад и выглянул в приоткрытую дверцу.

Посреди моста Алеков остановился и достал щенка из портфеля. Белая лапа, торчавшая из прорванного свертка, отчаянно вцепилась в алековскую грудь. Замедленным движением Алеков простер руку, сглотнул слюну и ощутил знакомый озноб, скользнувший по спине. Издали он был похож на памятник Свободе в детстве.

"Не по-нашему молится", — отметил шофер.

Алеков вскрикнул от усилия и разжал руку. Сверток выпал, ударился о выступ парапета и завертелся, исчезая в пред-рассветном тумане. Спеленутое тело с торчащей белой лапой ударилось о литую осеннюю воду, разом потеряло скорость и, продолжая вращаться, неумолимо затягивалось вниз. Все глубже и глубже ввинчивался белый щенок в податливую глупину, где сердце его захлебнулось и замерло.

Короткий всплеск вернулся сквозь туман, грубо оттолкнул Алекова от парапета и увел, пошатывая. Перспективы Алеков не замечал, город стоял перед ним серо и слитно.

Шофер сплюнул в сердцах, захлопнул дверцу и почесал руку в том месте, где с барочной изысканностью была наведена справедливая надпись: "Нет счастья в жизни".

У спада моста Алекова остановила массивная каменная урна, еще не опорожненная от вчерашнего мусора.

— Как это все не просто, — пожаловался Алеков.

\* \* \*

Никто не знал о рождении и смерти белого щенка. По вечерам Алеков приводил Альму на заброшенную строительную площадку, негласно отданную под выгул собак. Там он встречался с владелицей боксера Тоби, дамой средних лет, увлекавшейся оккультными науками и потому говорившей в нос. Выполненная из шаров-сфер, наподобие снежной бабы, она неторопливо закатывала Алекова в ковш куда-то ушагавшего экскаватора и рисовала ошеломляющие перспективы, открывшиеся человечеству общением с потусторонним миром.

Алеков смутно припоминал какие-то фокусы с прыгающими столами и крутящимися тарелками и косился на даму с сомнением. Но фирменная брючная пара и самоуверенный голос с элитными интонациями свидетельствовали о превосходном душевном здоровье.

Следя за боксером Тоби, гарцующим вокруг Альмы, Алеков вежливо выслушивал даму, с удивительной легкостью объяснявшую явления, совершенно непостижимые алековскому уму. Однако он умело и с выражением сочувствия поводит носом, словно бы прозревая разницу между провинциальным спиритизмом и современными исследованиями психических явлений, проводимыми научно подготовленными медиумами.

В двух словах оккультная дама поведала Алекову историю мироздания, записанную женой некоего протестантского пастора, уникальным медиумом, под диктовку самого дьявола Ардора, Иисуса Христа, оказавшегося его братом, и других участников бытийной мелодрамы. В знак особого доверия Алекову была обещана на прочтение и сама Книга, призванная заложить основы новой всемирной религии.

"Где я? — лихорадочно соображал Алеков. — Собачья оппозиция, бумаги в защиту таких-то, всемирная религия... Где

я живу? Где они живут? Бегают по коридорам, разгуливают с бульдогами — и все вслух! И меня не тянут за недоносительство! Значит — правда! Все эти торжественные обещания — правда! Один я все за решеткой, все вздохнуть боюсь. А кругом жизнь!"

— Жизнь! — закричал Алеков опешившей даме. — Время жить вслух! Я всегда об этом думал — всемирная религия, мировой парламент, выборное самоуправление, эсперанто — и ни бюстов, ни страха, ни борьбы за мир! Люблю папу! Время жить!"

Расцеловав недоуменную, но заметно подтаявшую даму, Алеков в сопровождении Альмы помчался снимать с окна сводную решетку.

\* \* \*

Никто не знал о рождении и смерти белого щенка Альмы, да и сам Алеков основательно забыл о нем. После работы собирались на преферанс у Федора Грибова, и сухарь Китаев выигрывал у Алекова то, что проиграл на нем пивом. Алеков радовался проигрышу и развивал мысли о мировом парламентарном правительстве.

Смирившись с потерей белого щенка и Альма, она не делила детей по цвету и отдалась заботе о трех оставшихся. Алеков, уже решившийся и сделавший шаг, твердо обещал щенков собачьей оппозиции. Вечерами он возился со щенками и сравнивал их с иллюстрацией из "Огонька". С каждым днем щенята все больше походили на колли, и сознание ужасного обмана перестало тяготить Алекова.

Иногда приходила в гости секретарша Лидочка и тоже играла со щенками, повизгивая от избытка чувств. Алеков откупоривал пузатую бутылку болгарского коньяка, и Лидочка садилась за стол, становясь все более подвижной и оживленной предстоящей близостью. На скатерти белого пластика лежали ее подрагивающие сильные пальцы машинистки. Телевизор пел о любви на языке борющегося Мозамбика.

Чем ближе подходила ночь, тем неувереннее и громче смеялась Лидочка. Смех этот тревожил Алекова, что-то напряга-

лось внутри него, так что и коньяк не помогал. Тогда Алеков раскрывал оккультную Книгу и вычитывал Лидочке, любившей все таинственное, наиболее забавные страницы.

Основы всемирной религии, изложенные в Книге, привлекали Алекова, как идеологическая платформа мирового правительствa, ставшего предметом его любимого размышления вслух. Алеков находил в новой оккультной религии много преимуществ перед христианством, пугавшим его старухами, молитвами, постами, земными поклонами, необходимостью ходить в отделенную от государства церковь и грядущим возмездием за земные грехи. Свободный человек, деятель собачьей оппозиции, Алеков имел самые смутные представления о грехе и прояснять их не стремился. Будучи умеренным в желаниях, он хотел немногого, но хотел каждый день, и как человек свободный, не собирался лишать себя маленьких радостей. Новая религия возводила Алекова в число бессмертных участников всемирной мистерии, ничего не требуя взамен, кроме добрых помыслов и общего стремления к совершенству. Алеков же считал себя человеком добрым и не имел ничего против совершенствования, особенно, если оно протекало вместе с Лидочкой.

Саму же Лидочку более всего возбуждала идея реинкарнации, обещавшая бесконечные рождения, блузочки с рукавами фонариком, встречи с Алековым, и вообще...

Всю ночь Алеков слышал Лидочкино дыхание. Он думал о том, как любил Веру и как страшно она умерла — в родах, вместе с мальчиком, как мало кто умирает теперь.

"Я и Лидочку люблю, — думал Алеков, чувствуя рядом что-то влажное и свернутое в крендель. — Встретить я тогда ее, а не Веру — поженились бы. Тогда бы умерла Лидочка, а я бы сейчас лежал с Верой".

\* \* \*

Через месяц Алекова посетила отборочная комиссия Клуба, возглавляемая майором в отставке и оппозиционной дамой. Они ввалились бок о бок, напоминая бегунов на проме-

жуточном финише. Наскоро ощупав щенков, они расписались под каким-то актом и исчезли, не глядя друг на друга. В дверях они разом остановились и синхронно повернулись к Алекову.

— Ждите покупателей, дорогой, — загадочно обронила элитная дама.

— Ждите! — пролаял майор с неопределенной угрозой.

К приему покупателей Алеков долго повязывал французский галстук, корректируя движения рук в тусклом зеркале над раковиной и избегая задерживать взгляд на чертах знакомого лица.

Первой вошла дама в мехах и облаке нещадного благоухания. Она прижала щенка к груди — и тот заблудился.

— Прелесть! Какая, знаете ли, прелесть, — сказала дама. — Муж хотел немецкую овчарку — воспоминания, знаете, внутренний фронт, год за три, двадцать лет беспорочной службы... Скучает, знаете ли. Но я сказала: "Нет!" Немецкая овчарка — грубое животное, ее на каждом шагу встретишь. А в колли что-то благородное, знаете ли. И потом она в цвет стен. Светлый дуб, знаете, но не полировка, ни в коем случае...

Следующий покупатель, явный ставленник майора, был великаном. Алеков видел только его нижнюю часть: две разные пуговицы на пальто и очень большие черные туфли с белыми трещинами у мизинцев.

— Я пуделя хотел, — виновато объяснил великан, — но отказали в пуделе. Пуделю дача нужна и, чтоб детей не было. А у меня парни растут, собаку просят. Спасибо, друг один, фронтовик, посоветовал — возьми, говорит, овчарку, серьезная собака... Вы уж извините.

Третий покупатель, казалось, не нажимал, а дул в звонок. Алеков не услышал — почувствовал его присутствие, распахнул дверь и отпрянул, как от зеркала. Маленький, похожий на него человек, вошел в комнату, двери не закрыл и сказал: "Скоков".

То, что он говорил дальше, сливалось, как огородительные квадратики, когда на них смотришь из отходящего поезда метро. Каким-то внутренним усилием Алеков выхватывал отдельные слова, и из них составилось следующее:

— ...щенка... прикус... где ей понять... событие... Англии... сдох... гений... совсем белый... улыбка природы... раз в эпоху... ношу всегда...

— Как? — воскликнул Алеков.

Но что-то сломалось в Скокове, он озирался, словно налетел на стоб, и говорить больше не мог.

Алеков ухватил его за плечи и злодейски прошептал:

— Белый колли?

Скоков жалобно кивнул, пошарил у сердца и достал полиэтиленовый мешочек, а из мешочка — фотографию, переснятую с журнала. Со стриженного английского газона Алекову улыбался громадный белый колли. Алеков мертвел и покачивался, а колли высовывал гибкое лезвие языка, и оба они молчали.

В запертой ванной металась Альма.

Скоков взял щенка, двери не закрыл и исчез выдохом.

\* \* \*

Грустный Алеков, специалист по несущим конструкциям, сидел над рабочим листом в мире, где не было белого колли. Он так сильно изменился с того момента, как настало для него время жить вслух, что совершенно разучился молчать. И скорбно вытянув шею, он рассказал, как родился у Альмы белый колли, гений, какие рождаются раз в эпоху, как улыбка природы, — а он, Алеков, его утопил.

Отдел слушал сосредоточенно.

— Подарил бы мне, чем топить, — сказала Лидочка и обиделась.

— Продад бы, — сказал сухарь Китаев и улыбнулся.

— Ты не Алеко, ты — Герасим, — промычал из утра Федор Грибов.

Ждать сочувствия было неоткуда, и Алеков погрузился, как в небытие, в лист типового проекта 1-511, ощущая к нему обостренное отвращение. Девять лет он покорно высчитывал нагрузку несущих колонн, и еще радовался, что не занимается перекрытиями, как Грибов, а тут новые непод-

властные мысли подхватили его и вознесли к недостижимой точке, с которой открылось ему то, чего он никогда не видел и видеть не хотел.

Открылся Алекову невместимый, все расширяющийся пейзаж, населенный множеством мелких настойчивых и неотвратимых существ, возводящих типовые камеры с взаимозаменяемыми блоками.

— Как же так? — шептал побелевший Алеков, не видя предела их безостановочному распространению по земле. — Значит, и время ить при коммунизме ничего не изменит, и все так же будут они строить свою тюремную действительность, только уже — бесплатно, уже — бесплатную.

Но кто-то из этих мелких неотвратимых, плодящихся на земле, как на трупе, был им самим, заглядывающим в этот момент в справочник. Алеков всматривался в пейзаж вселенского преступления с такой силой, что ломало глаза, но не смог отыскать себя среди тьмы подобных существ. Он знал, что он есть — и его не было.

Потрясенный Алеков не уследил, как закончил чертеж и вывел в углу свою фамилию. Был он от рождения Александровым, а оперного Алекова сделал из него небрежный прочерк в метрике, за который отдала мать делопроизводителю шмоток сала килограмма на два.

В тот год ходила мать прозрачной от голода и от счастья, что избавила Алекова от обезвреженного отца. "Сын за отца не отвечает" — позже подарено было. Светила Алекову его персонажная фамилия надеждой на чистую анкету и открыла ту бутафорскую свободу, которой и пользовался он вплоть до этого мгновения над столом с типовым проектом — одного из несчитанных мгновений чужой, страхом намайной жизни.

Будто взорвалось что-то в Алекове — так внезапно и жутко он вскрикнул и, рванув законченный лист, бросился вон.

— Собрание завтра! — успел крикнуть вдогонку Федор Грибов.

\* \* \*

Теплая, бесформенно-сумеречная осень стояла в городе, и в ней гулял Алеков. В светящемся, похожем на аквариум здании бесшумно шевелились люди. Алеков остановился и погладил стеклянную стену. Люди за ней пили пиво, и неутолимая тоска потянула к ним Алекова.

Он вошел и сел за дубовый стол. Кружки были тяжелыми, после третьей Алеков захмелел, но продолжал пить дальше.

Добрые розовые люди сидели рядом и тихо пили от тоски по белому колли. Впервые в жизни Алеков почувствовал свое родство с ними и распахнул застенчивый рот.

— Я ветвь человеческая, — тонким голосом сообщил Алеков. — Я — за мировой парламент. Что мы делаем, мужики!

Но тут Алеков вспомнил, что это он утопил белого колли, и сердце его стиснуло раскаяние. Он почувствовал необратимость времени, отмеченного, как вехой, унесенным белым гением, и, всхлипнув, обвел глазами зал.

Над соседним столом торчала голая голова в шишках, похожая на туго затянутый узел. Голова принадлежала инструктору из Клуба служебного собаководства. Алеков подошел к ней и сказал:

— Здравствуйте.

— У вас колли, — утвердительно ответил инструктор и протянул руку.

Алеков пожал ее, сходил за своим пивом и сел рядом. От инструктора пахло собакой, и поэтому за столиком он сидел один. Алеков пил пиво, и глаза его были печальны, как керамические блюдца.

— А я вот щенка утопил, — буркнул вдруг Алеков.

Глаза инструктора ведомственно вспыхнули.

— Белого, — добавил Алеков. Он икал, и инструктор перед ним подпрыгивал.

— Правильно сделали, — ответил инструктор и потух.

Алеков от неожиданности перестал икать, инструктор прощально подпрыгнул и повис.

— Как же это? Ведь белый... Улыбка природы... — пролепетал Алеков.

— Я и говорю, правильно. Он в стандарт не входит. В стандарте — рыжий. Рыжий — с белым, черным и голубым колером. Других нет. Других — топить.

— Какой стандарт? Гениальный он, белый, один на эпоху, а я его — вот этими руками! — кричал Алеков, протягивая знакомые вялые руки.

— Без стандарта породы нет, — твердо ответил инструктор. — Без стандарта коров нарожают.

Инструктор был объективен, как типовой проект, и Алекову захотелось его ударить. Но потом он вспомнил о мировом правительстве и решил поговорить с его будущими членами — добрыми и разовыми людьми, пьющими пиво. Он залез на лавку, покашлял и крикнул с пронзительной доверительностью:

— Я утопил белого колли!

Еще он хотел рассказать о том страшном, что увидел, вознесясь над чертежным столом, но тут быстрые мальчики в белых фартуках сняли его с лавки и, вежливо приподняв за воротник, поволокли к выходу.

— Мужики, помогите, — взывал Алеков, но мировой парламент безмолствовал.

"Вот, как это происходит, — думал уволакиваемый Алеков, спотыкаясь и не попадая на ноги. — Вот, как чувствует он, единственный, белый, когда его топят. Он чувствовал, что он — есть. А нас, взаимозаменяемых — нет. Нас нет, мужики, — и мы топим, топчем, душим — чтобы не знать, что нас нет, — даже и одного на эпоху не терпим."

Вынесенный в вестибюль, Алеков получил легкую затрещину и оказался перед стариком-швейцаром, услужливо оттянувшим перед ним стеклянную дверь.

— Гениальный, белый, — сказал Алеков и полез в карман за мелочью.

Кукольный старик призовым движением подбородка закинул бороду в рот и принялся ее жевать в ожидании чаевых.

— Ничего теперь не осталось, — пожаловался Алеков.

Тотчас прозрачная дверь вытолкнула Алекова на улицу, и швейцар выпустил бороду. Но Алеков этого не заметил и по-

шел домой, продолжая рассказывать ему про белого колли. Швейцар не понимал, и отчаявшийся Алеков стал на четвереньки.

— Вот такой, — объяснял Алеков, — только белый и маленький.

\* \* \*

Алеков вошел в квартиру, едва не наступив на Альму, и увидел деньги, которые лежали на столе смятенной грудой. Вспомнив про тридцать сребреников, он набросился на них, начал яростно рвать, мять, расшвыривать ненавистные купюры — и они разлетались — красивые десятки дамы, рваные пятерки великана и застенчивые трешки Скокова. Шелестящие тени наполнили комнату, и Алеков вспомнил, как пеленал в кофирку белого колли. Неслышно подошла Альма, толкнув Алекова вопрошающим носом.

— Бедная моя, — сказал Алеков и зарылся лицом в ее теплую шею. — Только мы с тобой и понимаем, что я наделал. Может быть, еще Скоков понимает. Но ведь нас нет. Это он — был.

Небывалая жалость наполнила алековское сердце. Он вдруг, как картинку, увидел себя, маленького в белой до пят рубашке, и заплаканную мать рядом, и распятие на стене. Но из такой глубины это всплыло, что не поверил Алеков, решил, что по телевизору показывали.

Взгляд его упал на разложенную на столе оккультную рукопись и скользнул по строке: "Вначале была тьма повсюду. Во тьме был свет".

Алеков поверил и заплакал.

Ночью ему снился свет, отражаемый оцинкованными плоскостями, неприятно напоминавшими внутренность рефрижератора. Потом появился и сам Алеков, то ли расплывшийся и заселивший пустоту, то ли многократно отраженный зеркальными плоскостями. Приплюснутый, он метался в оцинкованном пространстве, отыскивая источник света, а когда нашел, то свет был — как дождь.

\* \* \*

Алеков проснулся, еще не понимая, где находится, еще свободный, еще отчетливо принадлежащий себе. Чувство это он вынес из сна, в котором разговаривал с отцом, настойчиво спрашивая его о чем-то. Алеков не помнил, ответил ли отец, но решил сегодня же писать исковое заявление с просьбой вернуть ему фамилию Александров.

Это решение укрепило его, помогло подняться и дойти до ванной. Наскоро сполоснувшись, он решил пораньше вывести Альму, чтобы окончательно протрезветь на воздухе и собраться с мыслями. На полу перед дверью он заметил фотографию белого колли с ясным отпечатком своего каблука, поднял ее и обтер обшлагом.

Стояла теплая размываемая рассветом ночь, таяли тени и истончались влажные пятна фонарей. Алеков спустил Альму с поводка и пошел безлюдными дворами к заброшенной строительной площадке. Он продвигался сквозь пустынный набирающий силу свет, легкий и равнодушный к своей судьбе, примиренный с нагромождением крупноблочных построек, словно бы уже не имеющих к нему отношения.

Наконец, он вспомнил о сегодняшнем профсоюзном собрании, на котором взялся зачитать заявление в защиту такого, и понял, что непременно расскажет о белом колли и наступившем времени жить вслух.

Алеков испугался, что прозвучит все это глупо, совсем, как вчера в пивном баре, и неизбежно вызовет неприятности, но какой-то новый, властно определявший в нем человек, был неуправляем, как зажатая в пальцах вишневая косточка.

Алеков понял, что с этим новым человеком, по всей вероятности, Александровым, ему не справиться, и благоразумно притих, предоставив себя судьбе.

Выскочив на заброшенную строительную площадку, Альма весело обежала круг и виновато остановилась, словно вспомнив об утраченных щенках.

— Вперед, Альма! — подбодрил ее Алеков. — Вперед!

Он оглядел все сильнее проступающие на синем мрачных контуры типовых строений, в чьих блоках миллионы людей



досыпали последние сладкие минуты, — и вчерашнее чувство всечеловеческой связи овладело Алековым.

Облокотившись о ковш ушагавшего экскаватора, умиротворенный Алеков внимал брезжущему часу сна и свободы, таящим минутам, еще отделявшим людей от звонков будильников. Алеков прикрыл глаза, стараясь не думать о действительности, разверзшейся за этими синими минутами.

Еще стоял брезжущий час сна и свободы, и Алеков не хотел...

...еще не хотел понимать окружившую его тишину враждебного присутствия. Эта тишина сдавила его сознание, предвещая скорое и неотвратимое насилие, но Алеков не хотел, из последних сил не хотел...

Посреди площадки возвышалась Альма, застывшая в несбывшемся, недоведенном движении. Она тянулась к Алекову, и какое-то бесполезное усилие совершалось в ее горле.

Внезапные тени легли на площадку клином, расходящимся от огромного кобеля. Он стоял перед Алековым, гладкий и светящийся, словно отлитый из металла.

Алеков отпрянул, больно ударившись о железо, втянул от боли голову и, как из укрытия, увидел скользящие глаза собак. Он понял, что шел их час, последние минуты их часа.

Вожак глядел прямо перед собой, и холодные синие искры стекали с его шерсти. Он осуществлял свое право, он ждал. Алеков осмелился, отчаянно, как в детстве, шагнул вперед, взглянул в неправдоподобно близкую мерцающую глубину его глаз — и недвижимый идол ожил, внезапно и жутко ощерился. Обжигающий рык подавил Алекова, он ослабел, и сладкий озноб, как судорога, передернул все его существо.

Тотчас свистящая рябь скользнула по стае, серые тени окружили Альму и раздался ее короткий быстро подавленный визг. Хрипящие тени сузились и сомкнулись вокруг ее бьющегося, теряющего форму тела.

Вожак стоял перед Алековым во всей своей силе — равнодушный отлитый из синего света — а потом потерял к нему всякий интерес, отвернулся и вошел в расступившуюся свору.

Алеков еще чего-то ждал, слушая звуки поедаемой плоти, а потом опрометью помчался к дому.

\* \* \*

Через неделю, когда синий циферблат "Пекина" замыкался на без четверти девять, Алеков с закрытым бюллетенем в кармане скользнул мимо памятника Маяковского. Привычно взглянув на бронзовые штанины самоубийцы, он вспомнил, что в незапамятные времена на поэтином месте стоял гипсовый агитационный кролик, призывавший заменить собою исчезнувших коров, свиней и баранов.

— Ге-ра-а-си-ммм, — пропел из угла Федор Грибов, и рабочий день начался.

Отдел получил премию за типовой проект 1-511. Алеков же был лишен премии и вызван в Первый отдел для конфиденциальной беседы с участием приглашенных товарищей.

В течение всего рабочего дня Алеков глубоко осознавал, искренне признавал и торжественно обещал. Он даже подписывал бумаги с осуждением тех-то за подписание бумаг в защиту таких-то, что служило знаком особого доверия к Алекову, работнику незапятнанной в прошлом биографии и трудового происхождения.

Подпись Алекова под осуждением таких-то появилась в центральной прессе в блестящем созвездии имен академиков, писателей и доярок.

Сотрудники, свободно бегавшие по коридору с бумагами в защиту таких-то, перестали здороваться с Алековым. Впрочем, и по коридору они перестали бегать, как прежде, и даже вовсе исчезли из института, прекратив вскоре свое существование в яви и став скорее достоянием сна.

Элитная дама из собачьей оппозиции позвонила Алекову и выразила соболезнование от лица возглавляемого ею нового, совершенно свободного Общества собачьих любителей, подчинявшегося непосредственно Управлению.

Дама обвиняла в происшедшей трагедии отвратительных деревенских жителей, которые, получив квартиры в новостройках, побросали своих собак на произвол судьбы. Собаки одичали, сообщила дама, они стали страшнее волков, потому что близко знакомы с людьми. Известны и другие возмутительные случаи съедания ими породистых собак и детей. Да-

ма возмущалась Моссоветом, обещала поставить вопрос и обратиться в.

Кроме того, она предложила Алекову элитного щенка шотландской колли. Она уверяла, что Алеков украсит собою ее Общество. Она просила не скромничать и сказала, что уважает убеждения, так смело высказанные Алековым в центральной прессе. Она объяснила, что ее Общество твердо стоит на страже передовой советской кинологии, ведет строго научный отбор и проводит глубокие собакологические изыскания.

— Никакой кустарщины и волонтаризма! Взгляните за окно — их время минуло! — энергически закончила дама и повесила трубку.

Алеков уныло взглянул в сумеречное окно. На месте устаревшего "...ить при коммунизме!" над площадью Маяковского уже засветился неоновый призыв: "Превратим Москву в ..ый коммунистический город!"

— Образцовый, — доверчиво прочла Лидочка.

— Пьяный, — возразил Федор Грибов.

— Возможны варианты, — сухо сказал Китаев.

Алеков хотел добавить что-то свое, но тут снова зазвонил телефон.

\* \* \*

Ускользали, как прежде, быстрые типовые дни, рыжих щенят рожала колли, заменившая Альму, и все так же повизгивая играла с ними секретарша Лидочка, любившая все таинственное, а особенно, идею реинкорнации. Белый колли, рождающийся раз в эпоху, давно растворился в илистом дне Москвы-реки, Алеков его не вспоминал, да уже и не мог бы вспомнить. Потом Алеков умер, и хотя он тут же родился снова, но совершенно этого не заметил.

*Москва, 1969 - Копенгаген, 1983*

## ПОЭЗИЯ



Марина КОСТАЛЕВСКАЯ

## ПОВОРОТ СТРОКИ

\* \* \*

Весь мир открыт. Чиста страница.  
 Напоено мгновенье снова  
 желанием остановиться,  
 продлиться, перелиться в слово.  
 Еще не различимы звенья,  
 и нить звучанья не ясна.  
 Еще лежит стихотворенье  
 песчинкой в раковине сна.  
 Но придыханием руки,  
 уже скупым и суеверным,  
 отмечен поворот строки,  
 который отзовется первым.

\* \* \*

Скреплены земною осью  
 на стихи и на беду.

Даже имя это — Осип  
знали в пушкинском роду.

Пела эллинская память  
им бессонницей ночей.  
И лежал сизифов камень  
горкой пепла на плече.

Медлил долгое столетье  
Черной речки поворот,  
ждал, пока Россия, Лета  
станет речкою Второй.

Это только параллели,  
но они сойдутся там,  
где за точкой дальней цели  
нет названия стихам.

Где название — бесконечность.  
Где, свободный от примет,  
есть единственный и вечный  
Божьей милостью Поэт.

## ОСЯЗАНИЕ

Реальностью живет прикосновенье.  
И руки настороженно таят  
последнее спасенье от сомненья —  
слепое узнаванье бытия.  
Разгаданные яблочные свойства  
того, что не назвать, хоть назови.  
Хранит десятипальцевое войско  
округлое понятие любви.  
Ладонь не знает слова — расставанье,  
растянутого собственной длиной.  
Известна ей в значеньи ожиданья

шероховатость нити шерстяной.  
И кажутся догматы воскресенья  
приметами пушистого тепла,  
чтоб во плоти коснуться оперенья  
архангелова белого крыла.  
Последний довод, первая порука  
отличия свободы от тюрьмы,  
от света — тьмы. Имеющему руки  
да будет откровенье от Фомы!

\* \* \*

И я безвидна и пуста  
была сотворена.  
Не удостоившись креста,  
невинностью грешна.  
Но время отворило кровь  
и, отчитав свое,  
дало за верою в любовь  
надежду на нее.  
И сердце перешло в зенит.  
Сегодня ты — Навин,  
не для воинственных обид  
его остановил.  
Шумит под веками гроза  
сияющего сна.  
И набегают на глаза  
соленая волна.  
Рождается на дне веков  
торжественный прибой  
и бьется в берега зрачков,  
наполненных тобой.  
Безумье нежности моей  
и страшно и светло.  
И лона матери теплей  
щеки твое крыло.

И. К.

**ИОСИФ**

Просыпался тихий город на заре.  
 Назывался тихий город — Назарет.  
 Тень кедровая сползала по стене.  
 Солнцем доски золотились в стороне.  
 Старый плотник дверь тихонько открывал,  
 старый отчим день рабочий начинал.  
 И, пока пилою правила рука,  
 думал он, что надо выполнить заказ  
 поскорее, потому что впереди  
 день субботний, что Иаков проводил  
 сына Лазаря в далекий Вифлеем,  
 где он был тогда с Марией; что совсем  
 расшаталась рукоять у топора,  
 что игрушку надо сделать бы; вчера  
 слышал он, как две соседки говорили:  
 "Неулыбчивый ребенок у Марии".

\* \* \*

Уехать бы за все, что было.  
 За было... Стало быть — забыть.  
 Чтоб память, словно чай, остыла,  
 пока считаются столбы,  
 и гаснут крики ближних сосен  
 в распевах сосен вдалеке.  
 И знак ромашки на откосе  
 верней гаданья по руке.  
 Перечисленьем остановок  
 унять соблазны дневника.  
 И всем словам учиться снова.  
 Ромашки... Сосны... Облака...

*Софья МАРТОВА***ОПОЗДАНИЕ***Из одноименного сборника***СОЛОВКИ**

На Секирной горе одноглавая церковь стоит,  
 Позолотой блистая над позднею зеленью леса.  
 И когда он горит, то глодают ее языки  
 И по купол скрывает ее дымовая завеса.

Тянут корни к воде обгорелые дочерна пни  
 И бескровную памятью страх на иссохших губах шевелится.  
 Кто дал имя тебе и кому в первый раз отсекли  
 Непокорную голову, чтобы заставить земле поклониться?

Ты стоишь на холме: девяносто ступеней взойти.  
 За высоким забором залиvisto лают собаки.  
 Чьи потомки беснуются там — шелудивые псы —  
 Затевают в наследственной злобе свои беспробудные драки?

Возвели на холме неприметном сияющий храм,  
 Как свидетель, за малых и сирых бессильный вступиться.

Отдан был палачам на свое поруганье и срам —  
Здесь терзали людей, не желавших тюрьме покориться.

Здесь, в притворе монахов молящихся стерты следы.  
Здесь на жердочках узников гроздь висели.  
А студеное море крошило торосами льды  
И в поруганном теле надежды бессильные тлели.

Стекленеющий взгляд в алтаре силуэт различал:  
То Зосима-заступник ступал в облачении белом.  
Он безвинно распятого тихо по имени звал,  
Грешный дух отлетал, покидая земные пределы.

Ну а тех, семижилых, кто память и дух сохранил,  
Привязавши к столбам, по ступеням катили бессчетным.  
Ты, который в аду по терням все круги исследил,  
Хорошо ли зажали твои вдохновеньем разбитые ребра?

Остров лесом порос. Храм над морем плывет осиян.  
Крест лучится под солнцем. Здесь инок молился Савватий.  
Монастырские стены судов стерегут караван,  
И земля шевелится от хрипов бесслезных проклятий.

\* \* \*

Пусть говорят мне: пусты небеса.  
Но чьи в ночи я слышу голоса  
И кто пером бездушным по бумаге  
Лица живые контуры чертит,  
И кто скрижалей вырубил гранит?

Мысль вязкая колотится в виске.  
Задушен лист в беспамятной руке.  
Зачатье длится благодатною мукой.  
И как живот беременной, туга  
Рожденью обреченная строка.

И шахтой из неведомых глубин  
Она выносит залежь тайных глин,  
Что не стяжали солнечного света.  
И лепят губы медленный узор,  
Судеб сплетая темный приговор.  
Притоком наливается река,  
Как смыслом — полноводная строка,  
Взрывая русел тайнопись немую.  
И мысли воплощенные легки.  
И за спиной неслышные шаги.

### СТРОФЫ ИЗ ЦИКЛА "ЗЕМЛЯ"

1

Твоя ли в том вина, иль вечное проклятье,  
Что хлебы не растут на брошеиных полях?  
Привычной нищеты заштопанное платье —  
Песков и скудных глин заплаты на боках.

Сраженных наповал, расстрелянных в затылок,  
Без имени и дат, не помнящих родства,  
Хранишь в своих небратских оползнях-могилах  
Тех мучеников прах без гробов и креста.

2

Земля моя! Поруганная дедами,  
Разграбленная подлыми отцами,  
Не лемехом-распаханная бедами,  
Политая кровавыми слезами.

3

И вызрели, где с почвой кровь слилась,  
Лишь волчьи ягоды позора и растленья.  
Как будто у Христа не поднялась  
Рука, чтоб совершить благословенье.

\* \* \*

Гамлеты последнего призыва,  
 Мальчики в застиранных штанах,  
 Где же ваши острые рапиры —  
 Мужества недрогнувший замах?

Словно на неравном поединке  
 Ранены отравленным клинком  
 Раны воспаленную ложбинку  
 Сбившимся терзаете бинтом.

Смысла больше нет в сопротивленье.  
 "Быть или не быть" — старинный бред.  
 Значит, притупились мысль и зренье,  
 Значит, на наследство права нет.

Выродка на царственное ложе  
 Пустит обезумевшая мать.  
 Гамлетам спокойствие дороже;  
 Много ли от женщин можно ждать?

Как-нибудь сама собой уймется  
 Чести бесполезная возня...  
 Дания без принцев обойдется,  
 Раз на них рассчитывать нельзя.

В.Высоцкому

\* \* \*

На голове стоящий Галилей,  
 Как образ истины, освищенной глупцами,  
 Игрою ослепленный Дон Гуан  
 В тисках рукопожатья Командора,  
 Бессильный перед смертью не убить  
 Последний Гамлет,  
 Певец, паяц, беспечный фанфарон,

Твоею болью хрипнет миллион,  
 Чтоб до нутра глухого докричаться.  
 И сердце черной кровью изошло.  
 Раз кровоточит — значит, жив еще.

Биенье пульса сообщи другому.  
 Как прах отцов в иных сердцах стучит,  
 Так голос хриплый пусть всегда звучит.  
 Мир праху твоему, и мужеству, и слову.

\* \* \*

Снова осень — какая истома!  
 Клен к ветвям свои листья прижал.  
 Изразцы возле самого дома  
 Желтой охрой октябрь малевал.

О пора гениальных поэтов —  
 Ясность мысли и зрелость ума.  
 Слишком скоро кончается лето  
 Легкой рифмой — сума иль тюрьма.

В карантине — запретная воля,  
 В западне — кислорода глоток.  
 Так последний кусок канифоли  
 Натирает охрипший смычок.

Дальше смерть. Недолга передышка.  
 На снегу черной кровью истечь.  
 И в осеннем дырявом пальтишке  
 У Амура легко умереть.

Сурик, охра — столетье свободы,  
 Карантины, опалы, кресты.  
 Два-три тома. Напрасные годы.  
 Вот и кончено. Палят костры.

Куда мне деваться от этой проклятой страны,  
 От чахлых берез, недородом загубленных пашен,  
 От зряшных трудов, словоблудья пустой болтовни,  
 От гиблых проулков, где мутные жгут фонари,  
 От вечно в лесах недостроенных юностью башен?

Бежать без оглядки! Манатки и книги швырять,  
 Отцовских заемов трясти пожелтевшие листья.  
 Чтоб не черными буднями серого праздника ждать,  
 Чтобы жить одна и тебя по чужим не искать,  
 Да в глаза б не видать умудренные низостью лица!

В снегах окаянных костры обложные зажгут.  
 Бездомные ветры, кандальные песни не пойте.  
 Пустите меня! Что утраты уступчивый звук,  
 Что бесплодных надежд на огне расточившийся круг  
 От этой любви бесталанной бедой успокойте!

\* \* \*

На черный день любовью запасемся —  
 Она еще понадобится нам.  
 Балласт за борт. Мы малым обойдемся,  
 Пускаясь в путь к опасным берегам.

Ведь Бога нет. И не к кому прижаться  
 Губами, захлебнувшись комом слез,  
 И страшно от надежды отказаться  
 И, укрепившись, смерть принять всерьез,

Не ведая, пусть по пятам крадется  
 Кривая ложь с отточенным ножом.  
 И если память кровью захлебнется,  
 Запомним все: долг красен платежом.

Без воздаяний. Но любовь и память  
 В подвалах душ хранят неверный свет.  
 И суждено карабкаться и падать,  
 Любить и помнить, раз прощенья нет.

\* \* \*

Скажи, ты знала обо всем заранее?  
 Но жив еще беспечный Модильяни,  
 И ты ему рассказываешь сны  
 О том, что вы навек разлучены.

А он смеется (на листе погиб  
 Бедро врасплох застигнутый изгиб),  
 Все время повторяя имя Анна.  
 Весна. Монмартр. И капает из крана.

\* \* \*

Мне снилось: стою на допросе,  
 На склизком холодном полу.  
 Обмякшее тело выносят  
 И губы в предсмертном поту.

Но мне предлагается кресло  
 За черным дубовым столом.  
 Известно им время и место,  
 А я признаюсь в остальном:

Что тщетно колосья растила,  
 Ростки от потравы храня.  
 Те зерна давно задушила  
 Паршою своей головня.

Что землю преступно любила —  
 Крамолы страшной простота.  
 В родной стороне — лишь могила  
 Без права простого креста.

Да, я сознаюсь, виновата  
 Делами, словами, пером.  
 Всегда справедлива расплата  
 И даже во сне — желтый дом.



## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС“

- Саша Соколов, „Школа для дураков“. 1976.  
Саша Соколов, „Полисандрия“. 1983.  
В. Аксенов, „Ожог“. 1981.  
В. Аксенов, „Бумажный пейзаж“. 1983.  
Ф. Искандер, „Сандро из Чегема“. 1979.  
Ф. Искандер, „Кролики и удавы“. 1982.  
А. Битов, „Пушкинский дом“. 1978.  
И. Бродский, „Часть речи“. 1977.  
И. Бродский, „Новые стансы к Августе“. 1983.  
А. Цветков, „Состояние сна“. 1981.  
В. Набоков, „Приглашение на казнь“. 1976.  
В. Набоков, „Бледный огонь“. 1983.  
В. Набоков, „Дар“. 1975.  
М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982-  
Том 1, Ранняя проза, 1982.  
М. Булгаков, „Неизданный Булгаков“, 1977.  
И. Бабель, „Забывшие произведения“, 1979.  
В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983-  
Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.  
О. Мандельштам, „Проза“. 1982.  
А. Белый, „Почему я стал символистом“. 1982.  
„М. Цветаева — Фотобиография“. 1980.  
„М. Булгаков — Фотобиография“. 1984.  
С. Полякова, „Цветаева и Парнок“. 1982.  
А. Гладilin, „Большой беговой день“. 1983.  
В. Войнович, „Иванькиада“. 1976.  
В. Войнович, „Выбор“. 1984.  
„Метрополь — литературный альманах“. 1979.  
Л. Копелев, „Утоли моя печали“. 1982.  
Р. Орлова, „Воспоминания о непрошедшем времени“. 1983.  
Ardis, 2901 Heather way, Ann Arbor, Mich. 48104

## КНИГИ ДОРЫ ШТУРМАН

### ЗЕМЛЯ ЗА ХОЛМОМ

Издательство "Эрмитаж"

Сборник публицистических статей. Включены работы, посвященные проблемам сегодняшней и завтрашней России. Почти каждая статья — развернутый комментарий или критический анализ книг тех авторов, чьи взгляды вызывают сегодня наиболее острую полемику: Солженицына, Сахарова, Синявского, Зиновьева, Чалидзе, Хедрика Смита, Буковского, Померанца и др.

255 с. Цена 8 долларов

Hermitage — Publishers of New Russian Books  
2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA

### МЕРТВЫЕ ХВАТАЮТ ЖИВЫХ

В первой части книги, озаглавленной "Победа и крушение Ленина", рассмотрены миропонимание, этика и деятельность Ленина в 1917-1923 гг. Во второй части, которая называется "Николай Бухарин — любимец партии", исследована альтернатива Сталин—Бухарин. Третья часть книги называется "Читая Троцкого". На примере Троцкого легче всего выявляются и прослеживаются основные черты классического марксизма. Троцкизм представляет собой сегодня активное направление международной коммунистической мысли и деятельности, успешно используемое СССР. Поэтому восстановление истинного миропонимания, психологии и поступков Троцкого особенно злободневно. Источниками для написания этой книги послужили преимущественно сочинения, речи и письма Ленина, Бухарина и Троцкого, а также исторические документы, связанные с их деятельностью. В книге использованы многочисленные свидетельства современников описываемых событий. Несмотря на всю документированность книги, изложение носит характер очерково-публицистический, а не строго академический. Сохранен живой колорит событий, уделено существенное внимание психологической подоплеке поступков главных персонажей исторической драмы 1917-1930-х годов. События рассматриваемой эпохи соотнесены с современностью.

560 с. Цена 9 англ. фунтов

Overseas Publications Interchange Ltd.  
Queen Anne's Gardens GB London W4 1TU



## ГОСУДАРСТВО ПЛАНОВОЙ СМЕРТИ

О статье Льва Тимофеева "Последняя надежда выжить"

Все те, кто в той или иной степени противостоит советскому режиму, с удовлетворением и интересом прочитают размышления Льва Тимофеева о государстве и обществе в СССР. Это и есть центральная проблема работы; с точки зрения Льва Тимофеева, общество постоянно сопротивляется навязанной ему мертвящей доктрине. Что представляет собой этот текст по жанру? Трактат? Эссе? Выше я употребил слово: размышление, — может быть, оно точнее других. При разговорной естественности и взволнованном лиризме блестяще написанная работа отличается еще и редчайшей точностью сжатых и полновесных формулировок. Вот несколько примеров:

"Наша экономика лишь политический механизм, механизм власти правящего страной партийного аппарата.

Многое изменилось и продолжает меняться у нас в стране десятилетие за десятилетием. Но неизбежно остается одно — возможность насилия над общественным мнением, или даже отрицание общественного мнения.

Мы — пленное общество. Не только физически мы принадлежим чуждой нам политической системе, но и разум наш в плену у партийных пропагандистов, наше слово в плену у них. Мы молчим, даже когда знаем, что сказать. Мы молчим, потому что шаг влево, шаг вправо, и патруль открывает огонь.

Лев Тимофеев исходит из того важного постулата, что "Советский Союз — живой общественный организм, а не кладбище духа и морали". Уже это начальное утверждение противостоит многим утверждениям и в СССР, и на Западе. Л.Тимофеев справедливо отмечает, что советский лозунг "партия и народ едины", и западные высказывания насчет отсутствия общества и полной порабощенности личности в СССР — смыкаются; это, в сущности, одно и то же. Презрительное поношение того, кого наградили мерзкой кличкой "гомо советикус", дает искаженную картину реальности. Лев Тимофеев не устает повторять: **Мы живы.**

Он с уважением, хотя и без всякой идеализации относится к своим соотечественникам. Вот характерное для него суждение:

"Что сделаешь, не широк кругозор советского человека — широкий-то ложью позанавешен, — но в пределах своего недалекого горизонта судит он абсолютно здраво, и кто есть кто, и что почем, прекрасно понимает".

Размышления Льва Тимофеева принадлежат к самым содержательным и глубоким сочинениям последнего времени. К тому же они — обнадеживающее свидетельство того, что самиздат — жив, развивается, ширится и растет. Закончу эту вступительную заметку словами Льва Тимофеева:

"...всякая реальная оппозиция в тоталитарном обществе — пролом в стене душегубки, возможность жить в царстве плановой смерти. Мы живы!"

**Ефим Эткинд**

Лев ТИМОФЕЕВ

## ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ВЫЖИТЬ

Размышления о советской действительности

## ГДЕ НАМ ИСКАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ?

Мы живем в государстве, будущее которого туманно. Куда мы движемся? Что будет с нами через три-пять лет? Ответа на эти вопросы сегодня не знает никто, и даже руководители страны не знают. Будущее время как бы вовсе исчезло из политического языка лидеров.

Нас даже перестали обманывать скорым благоденствием. Прямо и цинично нам было заявлено: что есть, то есть — и другого ничего не ждите... А что есть-то?

Темпы роста советской экономики падают год от года, и ожидается, что годовой национальный доход, который уже и теперь упал до 2%, будет и дальше сокращаться. Нас ждет застой и обнищание — в общегосударственном масштабе... В стране, богатейшей в мире по своим природным ресурсам, не хватает элементарных продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости; миллионы семей не имеют мало-мальски сносного жилья. Цены тайно, но неудержимо растут... Как нам жить? Застойный характер имеет и политичес-

кая жизнь: в государстве, существующем уже две трети века и давно миновавшем пору становления, террор остается основным методом политического правления... Политическая нетерпимость оказывает дурное влияние и на общественную и нравственную сферы: в обществе, имеющем богатейшие духовные традиции, ложь становится нормой поведения; мертвенный цинизм, пьянство, разврат, наркомания — эти явления широко распространились и у всех на виду... Что же будет дальше?

Когда в 1939 году Сталин обещал процветание и обещал в десять-пятнадцать лет догнать и перегнать развитые страны по уровню производства, этому не то чтобы верили, но понимали, что право на заявления такого рода у него было: в силу целого ряда причин (впрочем, от Сталина не зависящих) темпы роста промышленного производства в стране были в пять-шесть раз выше, чем в США. Если его обещания и воспринимались сведущими людьми как обман, то как обман заданный и хорошо рассчитанный — обман сильного политика, оправдывающего кровавый террор ради некой (а вдруг и благой) цели в будущем.

Когда в голодном 1962 году Хрущев заявил, что вот-вот догонит Америку по производству мяса и молока на душу населения и что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, мы смеялись, но понимали, что динамика общественных и экономических процессов после XX съезда чрезвычайно высока. Что он там имеет в виду под словом "коммунизм", это было его дело, но развитие общества к лучшему было весьма вероятно...

Брежнев уже не только не сулил догнать Америку, но скромно обещал хотя бы перестать покупать зерно в Америке — и ему никто не верил. Сама модель общественной и экономической жизни страны, которую предъявил населению Брежнев и его соправители и которую теперь продолжают поддерживать наследники, лишена динамики — в ней нет пусть даже обманчивой надежды на благие перемены.

Куда мы двинемся теперь?..

Дело тем более осложняется, что, не умея решить внутреннюю проблему, власти в то же время упорно придержива-

ются амбициозной и наступательной внешней политики: в одной горсти они хотят удержать и свой народ, и народы Польши и Афганистана, а если можно, и другие, и другие, и другие. Так открывается альтернатива нынешнему застою еще более страшная, чем сам застой: война, и мы неумолимо приближаемся к моменту выбора: или — или. Причем надежда на благое решение тает день ото дня...

Но без надежды на перемены к лучшему — хотя бы слабой, хотя бы мифической надежды, какую постоянно стремились поддержать в советских людях прежние правители, — без этой надежды неблагоприятное настоящее воспринимается не как жестокая необходимость, а как тупая бессмыслица. Когда же впереди маячит опасность войны, то кажется, что мы и вовсе катимся в бездну.

Все это порождает в стране глухое недовольство. Всякий раз, когда оно прорывается наружу, его удается подавить, но снять атмосферу недовольства власти не в силах. И это чувство, эта атмосфера все более и более осознается, все более и более проявляется в общественном мнении.

Сегодня уверенно можно сказать, что осознание обществом своей оппозиции власти — важнейший социальный и духовный процесс современной России.

Процесс-то, может, и есть, а спросить о нем некого, — в редакцию "Правды" письмо не напишешь, на телевидение не позвонишь. Может быть, по западным "голосам" что рассказать могут? Мы бы и сквозь глушилки различили... Но нет, с Запада нам не подскажут. Там они тоже традиционно смотрят на советскую политику как на моно-процесс бытования и развития коммунистической идеологии или, в лучшем случае, как на противоборство неких сил в истеблишменте, или уж и вовсе как на тайный процесс развития кремлевских интриг в борьбе за власть, широкая оппозиция общества им не видна. Во всех теоретических построениях общество, если и присутствует, то где-то на нижних уровнях рассуждений, и представляется чем-то вроде колоссальных размеров птенца, раскрывшего ненасытный клюв в ожидании пищи. И ка-

жется, что у отцов государства одна великая забота — накормить ненасытное чадо, которое само никак не может повлиять на собственную судьбу.

Иными словами, наблюдатели видят только то, что выставляется им на погляд: идеологическую доктрину в действии, — а под ней есть ли что незадавленного? Конечно, заявить, что общество целиком и полностью прониклось коммунистическими идеями и руководствуется ими в своей жизни, не решаются даже самые слепые. Остается признать, что общество попросту подчинилось правящей доктрине и ныне мертво в духовном отношении.

Но если это так, тем более надо бы кричать о страшной опасности человечеству: духовная смерть четверти миллиарда человек и в статистическом-то своем значении — губительное явление, а если это омертвление великого народа — быть великим бедам! Сила великого народа, оседланная дьяволом, без труда сотрет человечество с лица земли...

Впрочем, все ли так беспросветно? Может быть, все-таки есть хоть какая-то надежда выжить? Приглядимся внимательнее... Может быть, все-таки оппозиция общества не привиделась нам? Может быть, есть у советских людей свое мнение о жизни, отличное от мнения Андропова? Может быть, мы в конце концов здесь, дома, найдем, кому задать наши вопросы и получим ответ, где же именно нам искать свое будущее...

Да и кого же еще нам начать спрашивать, как не самих себя.

## НАЙТИ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Живы мы духовно или нет? По первому взгляду — нет, ничего живого не осталось: ни мнения, ни сомнения... Представление о том, что у нас в стране нет и не может быть общественного мнения, не только полностью соответствует правящей идеологии, но и старательно насаждается ее аппаратом. Ведь с самого начала советское государство и было задумано как инструмент подавления общественного мнения, как д и к т а т у р а — и давили, и диктовали свою волю народу.

Ужели теперь, через шестьдесят пять лет кто-то может усомниться, что раздавили-таки?

Еще в конце тридцатых годов Сталин с удовольствием докладывал: "В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 98,6% всех участников голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Рогольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы союзных республик. Выборы дали советской власти 99,4% всех участников голосования. Спрашивается, где же тут признаки "разложения" (а о разложении правящей верхушки поговаривали наивные западные наблюдатели, — Л.Т.) и почему это "разложение" не сказалось на результатах выборов?"\*

Добавим, что в те же сроки было уничтожено еще, как минимум, полмиллиона человек — расстреляны, забиты до смерти на следствии, заморожены на лесоповале, утоплены в реках Сибири, уморены голодом — и ничего! никакого видимого движения общественного мнения, выражением которого должны бы быть выборы.

Да что там, Рыков, Бухарин, Тухачевский! Их судьба была в общем-то безразлична простому русскому человеку, но вот ведь немного прежде того, в коллективизацию, прямым административным и судебным репрессиям — вплоть до расстрела! — было подвергнуто не менее пяти миллионов человек, а под санкции косвенные, экономические, подпала и вовсе большая половина всего населения страны — и что же?! Уже и выборы 1933, 1934 и других годов показали "высокую политическую активность" советского народа и его "единодушную поддержку мероприятий партии и правительства", уже и тогда 98-99% голосовавших — "за".

Что же из этого следует? Полная политическая и нравственная апатия целого народа? Духовная смерть великой нации?

Вот изменились времена, настала хрущевская "оттепель".

---

\*

И.Сталин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, с.630.

Не то чтобы репрессии прекратились, но хоть срока поменьше стали отпускать. Может быть, и общественное мнение хоть чуть оттаяло? Да нет же! Ни беспорядочные хозяйственные эксперименты Хрущева, ни упорядоченный политический и экономический консерватизм Брежнева не выявили сколько-нибудь четко обозначенного мнения общества: все те же 99,9% голосовали "за" — сперва за Хрущева, а спустя короткий промежуток и "за" сменившего его Брежнева, хотя второй и объявил политику первого ошибочной, и мы, столь горячо поддерживавшие первого, могли бы возмутиться и потребовать объяснений... Нет, не нужно. Из одной опары тесто. Тать — не тать, а на ту же стать.

Молчание — знак согласия? Да что же это, право, какого такого в ы р а ж е н и я общественного мнения мы ищем? Коллективных петиций с выражением недовольства? Да, может, они были, петиции-то (были! были!) — но где теперь искать их авторов и "подписантов"? Иных уж нет, а те далече... Или, может быть, прямого протеста под дулами автоматов? Да, может, он и был, протест (был! был!) — но где теперь эти протестанты? Их и по биркам на костях не распознаешь...

Нет, нету у нас общественного мнения и не может быть. Ведь нас нету. Наше мнение о мире, о собственной жизни — лишь зеркальное отражение правящей идеологии, и даже дыхание не замутиит этого мертвого зеркала. Мы — персонифицированное здание государства... Мы — стадо, которое, когда придет срок, погонят утверждать повсеместно военно-имперский дух...

Все это, конечно, несколько грубо сказано. Можно о том же самом, но иными словами: "Советское общество достигло крупных успехов в социалистическом воспитании масс, в формировании активных строителей социализма... Чем выше сознательность общества, тем полнее и шире разворачивается их творческая активность в создании материально-технической базы коммунизма, в развитии коммунистических форм труда и новых отношений между людьми..." и т.д. и т.д. \*

\* Программа КПСС. М., 1962, с. 116.

Слова разные, а суть одна. Расхождение лишь в нравственной оценке видимой реальности... И получается, что даже самые яростные критики правящей доктрины видят нас такими, какими доктрина хотела бы нас сделать, такими, какими предлагал увидеть нас Сталин, тоже считавший, что общество упраздняется... Но мы-то совсем не такие!

Западных наблюдателей можно и понять: они ищут в советской действительности привычных им демократических форм общественного мнения: написал Солженицын "Письмо вождям" — это им понятно, это выражение мнения; выступил Сахаров в защиту афганских крестьян — и это понятно, это выражение мнения; создал Орлов и его единомышленники Хельсинскую группу — уж это точно выражение мнения! Но вот Солженицын выслан, Сахаров сослан, Орлов осужден, Хельсинская группа перестала существовать — и что же, оказывается, никакого нет общественного мнения? Остались только фото-витрины ТАСС и выкладки советских социологов о поголовном счастье?

Недоразумение заключается в том, что в сознании мировой общественности есть представление о некоем п р а в и л ь н о м выражении мнения общества. И эти правильные формы ищут... в н е п р а в и л ь н ы х условиях советского государства. Но можно ли от населения ГУЛага требовать в корректных демократичных формах выраженного мнения о лагерном начальстве, о конфигурации лагерных вышек, о праве лагерных собак? И когда мы молчим, печально глядя, как уводят высказавшихся, западные комментаторы отмечают: "У них нет общества. Личность полностью порабощена... Единственная реальность, с которой следует считаться — советское правительство".

Но мы — не картинки в "Огоньке". Мы — не цифры советских социологов. Мы — не слова в речах Андропова и иже с ним... Но мы и не рабочая скотина. Мы — живые люди, а Советский Союз — живой общественный организм, а не кладбище духа и морали. И одно несомненно: для того, чтобы различить и понять реальное общественное мнение, реальное отношение общества к своей жизни и идеологической доктрине,

к государству, надо не столько слушать, ожидая простодушных высказываний, — у нас кляп во рту! — сколько смотреть и анализировать, сопоставлять декларации правителей с ежедневным общественным поведением. Кто сумеет — увидит. Кто увидит — поймет.

Надо сказать, что советские идеологи в некоторых случаях оказываются более добросовестны, чем их западные критики: они хоть признают, что "в сознании и поведении людей сохраняются пережитки капитализма, которые тормозят движение общества вперед". И ведь как же прочно мировому общественному мнению лапша на уши повешена, что над этим "тормозят" никто всерьез не задумывается, а "крупные успехи в социалистическом воспитании" воспринимаются на веру, — другое дело, что кому-то они нравятся, а кому-то нет, но ведь воспринимаются!

Нам же не следует так быстро проскакать мимо признания партийных идеологов. Остановимся.

В государстве, созданном с целью преобразования общества в соответствии с заранее заданной идеологией, может быть только один серьезный тормоз, мешающий достижению цели: сопротивление общества. Вот и все. Общество сопротивляется преобразованиям. То есть уже сам факт приторможенности — факт общественного отношения к руководящей идеологии, факт живого отклика на давление доктрины, факт общественного мнения, выраженного в поступках.

Общество сопротивляется экономической доктрине социализма — на социалистическую организацию труда рабочие отвечают снижением производительности.

Общество сопротивляется политической диктатуре, — и поэтому правящий аппарат вынужден административно запрещать любые формы политической самостоятельности населения, вынужден предельно формализовать ритуал "выборов". (Понятно, что всякое независимое мнение по самой своей природе уже оппозиционно диктатуре.)

Общество сопротивляется идеологическому давлению, — и поэтому государство, правящий аппарат вынуждены содержать колоссальную пропагандистскую маши-

ну и поддерживать ее деятельность жестокими репрессиями по отношению к любым проявлениям инакомыслия.

Общество сопротивляется — именно это нужно понять за разговорами о "пережитках, тормозящих движение".

История советского государства есть история целенаправленного воздействия идеологической доктрины на общество. Этот процесс широко рекламируется советской пропагандой, он широко известен и хорошо изучен как его сторонниками, так и противниками... Но история советского государства есть в то же время процесс сопротивления общества. Этот процесс замалчивается или вовсе отрицается. Однако сам факт прекращения поступательного движения плановой экономики, сами факты застойных и даже регрессивных явлений и политической и общественной жизни страны — разве они не свидетельствуют, что противодействие общества давлению доктрины все больше проявляется как систематический процесс, как решающий фактор общего исторического процесса?

Мы живы. Мы живем, сопротивляясь постоянному и тяжелому давлению правящей доктрины. Сопротивление — форма жизни под давлением. Не широковещательный протест, а фактическое противодействие есть проявление у нас общественного мнения. Не декларация в защиту прав, а утверждение фактического права на существование. И если мы хотим понять суть исторического процесса у нас в стране, мы должны научиться различать эти формы общественной жизни, должны понять, какое значение они имеют для ближайшего и для более отдаленного будущего.

Партийные идеологи совершенно правы: именно прошлое мешает коммунистической доктрине окончательно утвердить свою власть над обществом. Это прошлое — опыт народа, обретенный за его тысячелетнюю историю.

Естественный опыт народа, общества противостоит искусственной коммунистической "теории" прямо-таки во всех сферах жизни. Борьба идет не на жизнь, а на смерть в прямом смысле этих слов: пока опыт жив, пока есть для него

вместилище в душах и умах живых людей — живо и само общество. Живо и будет сопротивляться мертвящему давлению доктрины. Если же возьмет верх "теория"... Впрочем, надо бы подумать, при каких условиях в принципе возможна победа "теоретической" доктрины?

Маркс и Ленин, Оруэлл и Замятин хотя бы гипотетически, но допускали, что да, может произойти так (а первые два считали, что должно произойти так), что коммунистическая идеология станет единственным наличным "опытом" человеческого бытия. Возможно ли это?

Развитие общественных взаимоотношений у нас в стране за последние годы заставляет усомниться в правомерности теоретической гипотезы. Более того, нет уже не только прежнего быстрого наступления доктрины, но общественное противодействие заставило правящий аппарат все чаще и чаще думать об обороне. Наступил как бы момент стагнации, момент фактического равновесия сил...

## **ЭКОНОМИКА. ЗДЕСЬ НАС НЕЛЬЗЯ ЗАДАВИТЬ**

Нормальная, здоровая экономика для чего существует? Чтобы отвечать общественному спросу на товары и услуги, отвечать потребностям общества. Есть потребности — будет производство! Есть потребности — будет товар... Но советская экономика для другого. Тут потребности общества на втором плане. Потребности-то колоссальные, а товаров — нет. Экономика служит прежде всего политическим целям.

Это хорошо объяснил Сталин еще в 1929 году: "Нам нужен ведь не всякий рост производительности народного труда, — говорил он в своей речи против Бухарина. — Нам нужен определенный рост производительности народного труда, а именно — такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического сектора народного хозяйства над ка-

питалистическим". Но как же такой перевес обеспечить? Очень просто: запретить рыночные отношения в экономике. И все!

Какую зарплату платить работнику? Какую цену назначить на готовую продукцию? Какую установить структуру и объемы для производства потребительских товаров? Все это определяется не потребностями общества — пусть хоть голодают, — не спросом, но решает по своему произволу правящий аппарат страны. Прежде всего он решает политические задачи: оплачивает собственную безопасность, безопасность своей власти, вооружение, армию, партийный и государственный аппарат, КГБ, систему пропаганды. А уж минимум, который остается — опять-таки под строгим контролем сверху — распределяется работнику, обществу...

Наша экономика — лишь политический механизм, механизм власти правящего страной партийного аппарата.

Уже сегодня советская экономика могла бы дать народу втрое больше товаров и услуг — это позволяется современной техникой и технологией. Втрое! Но нет, партийные руководители никогда не пойдут на это. Им невыгодно. Ведь для этого хоть отчасти нужно поступиться своей абсолютной властью. Сегодня долю власти уступишь, а завтра и вовсе без власти останешься — таков закон политики! И поэтому "нам нужен не всякий рост производительности народного труда".

А что же общество, что же мы?

Может быть, и впрямь возможно как-то сократить потребности общества, привести их в соответствие с интересами правящей доктрины, как-то воздействовать на сознание людей?

Нет, наши потребности, потребности общества — объективны. Они сформированы всем ходом истории. Они не зависят от политического момента или экономической ситуации, от воли Сталина, Брежнева или Андропова. Нельзя пренебрежение потребностями сделать постоянной политикой. Общество сопротивляется как может.

А может общество много!

Государство недоплачивает работнику, не считается с его

потребностями? Но тогда и работник, верный не коммунистической доктрине, а здравому смыслу, начинает недодавать государству свой товар — рабочую силу. Мера за меру!

Надо ли удивляться, что через десять лет в стране, по подсчетам экономистов, не будет хватать тридцати миллионов пар рабочих рук? Нехватка рабочих рук — понятие относительное и показывает прежде всего низкое качество наличного товара — рабочей силы. А уж низкое качество рабочей силы отзывается и низкой же производительностью труда. Когда в стране не хватает рабочих рук, это значит, что плохо работают те, что есть.

Низкая производительность труда, низкое качество рабочей силы при социализме есть как раз парадоксальное свидетельство жизнеспособности и духовного здоровья человека, проявление его естественных реакций на бесчеловечную экономическую систему, факт сопротивления общества давлению доктрины... Пока жив человек, иначе быть не может!

Не желая перестроить экономику так, чтобы она отвечала потребностям общества, правящий аппарат стремится искусственно, методами пропаганды пригасить наши потребности. Нас пытаются убедить, что трудности — не от порочной экономической политики, а от объективных причин — от неурожаев, от ошибок предшествующего руководства, от происков американцев.

Пропагандисты произносят соответствующие заклинания... но потребности все растут и растут. И происходит обратное: не экономический дефицит душит потребности, а растущие потребности все более и более разламывают монолит социалистической экономики. Люди ищут возможности удовлетворения своих потребностей вне "плановой", то есть строго нормированной, экономической системы, развивают несоциалистические, традиционные, хорошо отработанные всем ходом истории рыночные формы хозяйствования. Когда хотят жить нормально, с доктриной перестают считаться.

Разве не факт общественного выбора (выбор — проявление мнения!) видим мы в том, что приусадебные участки кре-

стьян и садовые клочки рабочих превращаются в настоящие микро-фермы, отодвигая на второй план "доктринные" колхозы и совхозы. "Теоретическому опыту" основоположников "научного" коммунизма, правящей доктрине, крестьяне и рабочие противопоставляют свой практический опыт, свое мнение, свой здравый смысл.

Разве не факт общественного мнения, общественного выбора видим мы в том, что промышленность, строительство, транспорт настойчиво ищут формы независимости от "плановой", строго нормированной системы? И находят! Не в системе половинчатого "бригадного подряда", а в прямой системе взяточничества, приписок, "липовых" нарядов, подставных лиц, дополнительных выплат и т.д. Нарушают закон? Нет. Нарушают искусственные барьеры и запреты, поставленные властями на пути свободного движения экономики.

Я понимаю, может показаться странным, что мошенничество, взяточничество, обман мы рассматриваем не как безнравственные поступки, а как факты экономического сопротивления. Но в том-то и парадокс, что в советских условиях за этими поступками можно и нужно увидеть не изъяны личности, но лишь единственно возможный, здравый способ существования в предложенных неестественных условиях. Склоните сегодня к нравственному покаянию всех в стране снабженцев-толкачей, этих профессиональных взятодателей, и завтра замрет вся экономическая жизнь в стране. Строго по доктрине можно только умереть. Жить можно лишь вопреки доктрине, лишь сопротивляясь.

Можно, конечно, предположить, что власти сознательно поступаются доктриной, рассчитывая, что со временем можно будет использовать (как при нэпе) все блага, которые будут добыты обществом при нынешнем исподволь развивающемся процессе десоциализации экономики. Но ведь при нэпе сектор государственной экономики был четко отграничен от экономики рыночной. Обе схемы существовали порознь. И когда пришла пора, то задавить частное предпринимательство было просто, — и как легко задавили! — словно страничку со схемой выдрали из книги истории. Усомнимся, так ли легко

будет задавить нынешнюю рыночную структуру, проникающую буквально во все клетки экономического организма.

Нэп был демонстрацией силы молодой политической доктрины, силы ее идеологов и практиков. Экономической конкуренции они всегда готовы были противопоставить неэкономические аргументы — идеологические (светлое будущее, требующее жертв), политические (укрепление диктатуры пролетариата и борьба со внутренним врагом), военные (социалистическое отечество в постоянной опасности). Всего этого было достаточно, чтобы запретами и прямыми репрессиями обеспечить "систематический перевес социалистического сектора... над капиталистическим".

Но сегодняшней-то процесс демонстрирует как раз слабость прежних аргументов: о светлом будущем никто не желает слушать, а миллионы убитых и десятки миллионов загубленных судеб в каждом из советских поколений — избыточная жертва для любой человеком вообразимой цели; политические аргументы тоже потеряли свою силу, поскольку партийные теоретики опрометчиво отказались употреблять термин "диктатура пролетариата" и поспешили провозгласить "общенародное государство", лишив функционеров-практиков возможности иметь внутреннего врага, на которого можно было бы списывать трудности, объявляя время от времени погромные чистки... Остается единственный серьезный аргумент — военный. Остается внешний враг.

Война или явная военная опасность — вот что может вновь сделать советскую экономику (а с ней и всю общественную ситуацию) подконтрольной и упорядоченной. Появится возможность — и даже необходимость! — ввести карточную систему, запретить приусадебные хозяйства и все другие легальные формы рыночной экономики, приравнять трудовую повинность к воинской и, соответственно, приравнять хозяйственные нарушения к воинским преступлениям, предусмотрев, скажем, наказание за взятку вплоть до расстрела... Возможно такое? Возможно. Более того, все это нам хорошо знакомо, почти все это и было у нас до середины 50-х годов. Неужели возобновится? Поразмышлять о такой возможности

у нас будет случай несколько далее. А пока нам важно, что в экономике общество активно сопротивляется правящей доктрине.

Пока человек жив, пока живы его потребности, он будет сопротивляться...

## **СЕМЬЯ. СЮДА МЫ ПРЯЧЕМСЯ ОТ ДУХОВНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

Жив человек! Жив, разумен, деятелен. Обо всем имеет свое здоровое мнение... На первый взгляд, именно это и кажется самым странным. Вроде ни о чем так не заботились коммунистические идеологи и функционеры, как об умерщвлении человеческого смысла.

Заменить здоровый смысл коммунистической теорией, при которой сама потребность к адекватному восприятию была бы потеряна — вот, казалось бы, для чего катится на нас тяжелая, громоздкая, неумолимо давящая машина... Но на нас ли? Не мимо ли?

В своей трудовой практике мы давно поняли, что чем дальше от "коммунистических начал", тем и труд производительнее, и жизнь сытнее; да и сами руководители хозяйственной жизни, если и не высказывают эту мысль публично, то, кажется, осознают ее все более и более.

Все чаще мимо прокатывается пропагандистский каток, лишь нечистым ветром опухнет... Право, газетная заметка о жизни на Марсе привлекает больше внимания и больше интереса вызывает, чем материалы последнего пленума ЦК. Марс, хоть и далеко, но есть, а пропагандистские понятия вот они, но дотронься — пыль, пустота! И об одном только думают люди, глядя в оплывшее лицо какого-нибудь телевизионного Жукова или Зорина: сколько же это они получают и скольких лет на пенсию выходят? И завидуют легкому хлебу: хорошо-де устроились — вон как разъелись!

Что сделаешь, неширок кругозор простого советского человека — широкий-то ложью позанавешен, — но в пределах



своего недалекого горизонта судит он абсолютно здраво, и кто есть кто и что почем, прекрасно понимает.

Вот что несомненно: за шестьдесят пять лет неослабевающего нажима, вопреки всем изоциренным методам пропаганды — от первой детской песенки до надгробной речи — коммунистическая идеология не сумела захватить душу человека. Почему так? Да потому, что нету этой идеологии никакого разумного применения в жизни.

Все знают, что туда, где начинается мир личности — в межличностные отношения, в семью, в нравственное самосознание — идеология и вовсе проникнуть не может. Мы ее сюда не пускаем. Здесь — наше. Сюда мы сами прячемся от духовной и нравственной стерилизации. Здесь мы храним духовный и нравственный опыт истории...

Казалось бы, даже представить себе невозможно, как это семья, супруги, родители, дети — всего двое, трое, пятеро — могут противостоять нажиму колоссального аппарата подавления. Какая сила заключена в этом мельчайшем человеческом коллективе? Да все та же сила — сила исторического общественного опыта, сила здравого смысла.

Ведь было время, когда советские идеологи пытались и в семью проникнуть со взломом. Они пытались включить семью в общую структуру социалистического уклада, искали способ и в семье устроить жизнь по своим законам, объявляли ее "элементарной ячейкой социалистического общества", а потому потребовали от супругов, чтобы они доносили друг на друга, а нет — репрессировали обоих (так было со многими тысячами семей в конце 30-40-х годов, оттуда и гулаговская аббревиатура "ЧС" — член семьи врага народа).

Канонизировали отцепредательство (герой-пионер Павлик Морозов); оправдали каинов грех братоубийства (братья как идейные противники — излюбленная ситуация искусства соцреализма, причем безусловное право на убийство признается, понятно; за братом-коммунистом).

Они хотели создать советскую семью, но два эти понятия — советский и семья — попросту не хотели соединяться воедино. Они из разных лексиконов. Или семья оста-

ется вне коммунистического нравственного норматива, или она разрушается.

Да и то: семья не коммунистической теорией создана, и в семейной жизни все мы — даже и те, кто не подозревает об этом, — руководствуемся не "кодексом строителя коммунизма", а многовековыми нормами религиозной морали.

Нравственные принципы семейной жизни вырабатывались тысячелетиями. В них основа общественной морали вообще. Они абсолютны. Их нельзя отменить приказом. Они покоятся все на тех же десяти заповедях, сообщенных некогда Моисею. И если сказано: "Чти отца твоего и мать твою, и да благо ти будет, и да долгодетен будешь на земли", — то или эти слова истинны вне зависимости от политической ориентации твоих родителей, или они вообще утрачивают какое бы то ни было нормативное значение: хочешь — чти, а не хочешь — не чти.

Семья сама — общество и всегда — часть общества. А поэтому так же абсолютна и необходимость уважения чужой семьи, чужой жизни, чужой собственности: "Не пожелай жены искренного твоего, не пожелай дому ближнего твоего..."

Но так же абсолютен и запрет на прелюбодеяние, лжесвидетельство, воровство, убийство. Нравственные заповеди не корректируются политической ситуацией. Они или принимаются семьей — и тогда семья жива, или они отвергаются, но тогда нет и семьи, — она превращается в случайное сожителство особей, стабильность которого зависит от стечения политических обстоятельств или даже и вовсе от воли административного аппарата. Совесть умирает. Личность умирает. Умирает семья... Но тогда умирает и общество.

Словом, семья была, есть и будет самой консервативной, самой надежной основой общественной структуры. Пока жива семья, мы не беззащитны под давлением доктрины.

Семья — коллективный духовник. Мы не ошибемся, если скажем, что реальное общественное мнение — сумма всех мнений, высказанных населением страны в семейных разговорах. И мы не ошибемся, если скажем, что мнение это о п о з и ц и о н н о правящей идеологии.

Административное и идеологическое давление бессильно перед этой оппозицией. Ее вынуждены терпеть... Между тем всякая реальная оппозиция в тоталитарном обществе — пролом в глухой стене душегубки, возможность жить и в царстве плановой смерти.

Мы живы!

## **ЛИЧНОСТЬ. ТРАГЕДИЯ ОТРАВЛЕННОЙ СОВЕСТИ**

Мы живы. Мы — люди. Мы сопротивляемся...

Но шестьдесят пять лет идеологического давления не прошли бесследно. Мы сохранили принципы, но не всегда сохранили самих себя. Едва ли не все мы — калеки: наши души сформированы в кривом футляре советской воспитательной системы. Наши реакции кривы и нелогичны. Ложь давно уже стала нормой нашего поведения. Мы сопротивляемся, не зная, что такое сопротивление. Мы стремимся к правде, не зная, что такое правда.

Мертвая рука идеологии стремится оторвать нас от здравого смысла, от здравого опыта истории, сделать послушными исполнителями любой начальственной воли — без протеста, даже и без сомнения вовсе, превратить в простенький механизм типа "Наш паровоз вперед лети... а вместо сердца — пламенный мотор"... Задача правящей идеологии — убить душу, сохранив тело и холодное, бездушное сознание. Убить сомнение.

Среди идеальных героев коммунистического пантеона есть мыслители и рубаки, труженики и исполнители, но нет ни одного подвергающегося сомнению. Сомневающийся — не герой, сомневающийся — потенциальный враг.

Сомнение — вот первый шаг к сопротивлению личности. Первый, но самый великий шаг. Сомнение — тихий бунт, но ведь бунт же! Когда-нибудь возникнет великая литература, которая покажет истинные процессы, происходящие в душе советского человека, — только великая литература сможет

сделать это... Она покажет, как человеческая душа, подавленная раболепством родителей, затравленная школьным, пионерским, комсомольским воспитанием, за да в л е н - ная ежечасной, ежеминутной пропагандой, — как такая душа все-таки в какой-то момент распрямляется — и человек подвергает сомнению все те ложные истины, которые внушались ему, и опадают они с выздоравливающей души, как короста с выздоравливающего тела.

Но почему же все-таки наступает момент сомнения? Да потому, что душа человеческая больше любой идеологии. Больше — и все тут! Ну что может значить какое-то комсомольское воспитание по сравнению с тысячелетней нравственной традицией народа...

Потребности человека созданы историей, представления о мире — историчны. В нашей обыденной жизни мы придерживаемся здравого смысла — и он ежедневно и ежечасно противоречит идеологической "теории", заставляя нас всматриваться, сопоставлять, сомневаться...

Сомнение — первая работа пробуждающейся совести. И самая трудная работа. Не имея силы постигнуть суть противоречия между здравым смыслом и идеологией, человек стремится не думать о нем, вовсе вытеснить его из своего сознания. Но это никогда не удастся вполне.

Сомнение, раз поселившись в душе, не может быть изгнано. Оно выступает экземой на руках человека, читающего доклад о торжестве идей марксизма-ленинизма; оно создает ощущение разлада между жизнью и сознанием и заставляет человека пить водку, прибегать к наркотикам и транквилизаторам, забываться в разврате.

Самосожжение — тоже форма отказа, и те миллионы, которые сгорают от водки, далеко не всегда знают, что они — протестанты, что их жизнь — сопротивление. Так, к слову, сопротивляется и, вырождаясь, гибнет от пьянства русская деревня... Но сопротивление, которое заканчивается гибелью, — победа ли? Нет, поражение.

Пьянство, наркомания, разврат, физическое вырождение, увеличение числа случаев нервно-психических и сердечно-

сосудистых заболеваний — такова страшная победа коммунистической доктрины над обществом. Чуждая идеология стремится убить душу, но это удастся лишь при физическом уничтожении человека. Впрочем, это никого не останавливает: и м лучше труп или полный идиот — лишь бы не иначе комыслящий...

Но сомнение совсем не обязательно приводит к инакомыслию. Даже осознанное отрицание правящей доктрины еще не означает признания истины за какими-то иными идеями — к иным идеям у советского человека попросту нет доступа. И получается: как ни отрицай, а деваться-то некуда...

Да что там — идеи! Просто физически некуда деваться: если хочешь нормально работать, кормить семью, хоть мало-мальски сносно жить, если хочешь сделать карьеру или утвердить какие-нибудь деловые (хозяйственные или научно-технические) идеи — сиди на партсобраниях, поддерживай "генеральную линию", вступай в партию — другого пути нету! Поэтому вслед за осознанным отрицанием достаточно часто следует циничное примирение.

Но циник уязвим, и важно не то, что он примирился, отрицая идеологию в душе, а важно, что все-таки примирился. Примирение — отказ от личности, отказ от собственного мнения, отказ от убеждений. Вы вступили в партию — жизнь заставила! Но теперь выступите на ординарном партсобрании хоть с мало-мальски здоровой идейкой, отличающейся от "генеральной линии", и обсуждать будут не идею — обсуждать и осуждать будут сам факт вашего выступления. А станете упорствовать в своей позиции — и вас разотрут равнодушные жернова. Если уж вы в эту машину сунулись (квартиру ли вам пообещали или повышение по службе — а без этого — кто же полезет?!), то выжить сможете только, превращаясь в "нового человека в процессе активного участия в строительстве коммунизма". То есть теряя какую бы то ни было способность здраво судить об окружающей жизни или загоняя эту способность, эту потребность глубоко на дно души... Наступает время, и вчерашний трезвый циник сам становится бешеным давителем всякой здоровой мысли.

Опять победа идеологии? Да. Есть основание считать даже, что ее главную силу составляют именно люди, цинично примирившиеся, а вовсе не "идейные борцы". Это люди с нарушенной функцией совести, и в них — самое тяжелое поражение здравого смысла. Что поделаешь, само понятие борьбы подразумевает чередование побед и поражений. Но ведь борьба же! И даже самый бешеный несет в глубине души зерно сомнения в правомерности своих поступков. Здравый смысл не умирает. И бывает, зерно прорастает, и тогда — невращения двойственности, болезни, губительный запой, а то и вовсе прямое самоубийство.

Вот что очень важно: постоянное столкновение идеологии со здравым смыслом происходит в душе каждого из нас — в каждой душе, от диссидента до секретаря обкома. Именно здесь, в душе, последняя и главная линия сопротивления. Именно здесь, в проверке доктрины совестью, решается и судьба человека, и судьба общества, истории. Здесь все компромиссы и примирения, все поражения, все победы, — а и победы есть абсолютные!

Немногие отваживаются на радикальную борьбу, но и на это отваживаются. На открытое выражение своего мнения, на открытое отрицание правящей коммунистической доктрины. Их значение определяется не количеством и не политическим эффектом, а самим существованием. Нравственное влияние открытого протеста уже ничем не сотрешь, из души не вытравишь. Сахаров и Орлов — в сознании каждого из нас — даже и тех, кто ничего не знает о них, кроме газетной брани и клеветы. В нашем сознании — ими явленная возможность открытого протеста.

Но радикальный протест — не без слабостей. Он, как правило, соотносит наши потребности, потребности общества с политической реальностью, требуя частных изменений (движение за права человека, неофициальное движение за мир, национальные оппозиции и т.д.). Но частные изменения советской политики невозможны. Никто никаких прав нам не подарит... Однако подразумевается, что если политическая реальность не изменится, не поддастся, то личность и общество останутся по-прежнему давимы и поработаны...

Совершенно иначе сопротивляется доктрине консервативная, религиозная мысль. Религия, соотнося кратковременное человеческое бытие с Вечностью, дает возможность духовно обособиться от лживых истин правящей идеологии, возвыситься над ними. Христианство — самая распространенная из религий нашей страны — утвердилось в человечестве как религия рабов. И сегодня мы, рабы коммунистической доктрины, принимаем учение Христа как голос, зовущий нас к духовному освобождению вне зависимости от того, каковы политические и экономические условия нашего бытия.

Можно было бы сказать, что популярность христианства вообще и православия в частности год от года значительно возрастает; можно было бы вспомнить о тысячах и тысячах новокрещеных взрослых и о молодежи, заполняющей церкви в дни праздников — и можно было бы увидеть в этом то самое сопротивление общества, о котором мы все время толкуем... Да, но правильно ли говорить об этом явлении как о чем-то новом?

Христианство на Руси вот-вот отметит свое тысячелетие, и сам факт, что оно не только живо, но и сохранило силу и в последние десятилетия. Сам этот факт не свидетельство ли непреодолимого духовного сопротивления общества мертвящему давлению доктрины?

За последние шестьдесят пять лет — за годы коммунистического правления — христианство как мировоззрение, как система морали ничем не скомпрометировало себя в сознании общества, придавая силы мученикам, утешая оскорбленных. И поэтому теперь, когда сопротивление общества принимает осознанные формы, многие из нас и осознают себя христианами, хотя, по сути, были ими всегда...

Мы остаемся живы!

*Окончание в № 76*



*Владимир ШЛЯПЕНТОХ*

## ЭССЕ О ВЛАСТИ

### ОБРАЗОВАНИЕ

Как я уже отмечал, демократическая система родилась в Англии и затем возникали (да и то не очень часто) ее неприципальные модификации. Можно утверждать, что и Советский Союз, если он вступит на путь демократического развития, будет следовать западным, английским образцам так же, как Индия, Япония, Нигерия и вообще любые страны с самой различной культурой и традициями.

Когда однажды Россия начала двигаться в этом направлении (в 60-е годы прошлого столетия) она именно так и поступила. Все ее основные реформы, несмотря на, казалось бы, сильные славянофильские традиции, развиваемые куда более яркими людьми, чем нынешние представители этого направления (разве можно сравнить Киреевских или Аксаковых с Солоухиным или Палиевским?), были сугубо западными. И это было благотельно для страны.

Образование, а не что-либо другое, способствует подъему националистических движений. Именно оно ведет к взры-

*Окончание. Начало в № 74.*

ву национального самосознания, знакомит людей с жизнью народов, пользующихся независимостью, и делает из них националистов. Именно интеллигенция, а не какие-либо другие слои общества являются главными носителями национальных идей. Обстоятельство, которое, конечно, не предусматривали основатели СССР, много сделавшие для роста образования в советских национальных республиках.

Образование расширяет представления человека о возможностях выбора. Советские люди могут прожить без "Голоса Америки" или Би-би-си. Однако после того как они уже раз пользовались этими источниками информации, они навсегда сохраняют элемент неудовлетворенности оттого, что лишены их теперь. Конечно, значение этого фактора не следует преувеличивать, как и вообще влияния западных средств массовой информации. Однако, нет сомнения, что этот фактор работает в пользу свободы и против властей.

## БЛАГОСОСТОЯНИЕ И СВОБОДА

Впрочем, не только образование, но и просто улучшение жизненного уровня повышает значение свободы как ценности в человеческой жизни. В самом общем виде это утверждение находится в рамках простой, но, по-видимому, здоровой теории А. Маслоу об иерархии удовлетворения потребностей (согласно Маслоу, человек, удовлетворив потребности на предшествующих ступенях иерархии, неизбежно стремится к более высоким ступеням).

Может быть, покажется странным утверждение, что значение свободы как ценности за последние 20 лет выросло в СССР, в то время как страна последовательно движется в политическом отношении назад, к сталинизму. Однако это так.

Советские люди начала 80-х годов — более образованные и более ориентированные на высокий уровень жизни, чем поколения 40-х и 50-х годов, хотят большей свободы во всех сферах.

Потребность В свободе, как и всякую другую, можно заглушить и сделать как бы несуществующей. Можно ослабить потребность даже в еде, не говоря о сексуальной потребности, и даже не вспоминать о социальных сферах.

Однако потребности, вытесненные из верхнего уровня сознания, не исчезают из человеческой психики и накапливаются на нижних этажах и ждут своего часа для реализации. Можно, по-видимому, утверждать, что действует в жизни людей некий закон "сохранения потребностей". Вечное заблуждение властей состоит в том, что они верят в возможность заставить людей отказаться от того, что может их поданным доставить удовлетворение. Другое дело, что загнанная внутрь потребность может побудить людей действовать стихийно, иррационально и даже во вред самому индивидууму, подобно тому, как люди набрасываются на еду или на объекты другого пола посла длительного голода.

Разумеется, свобода, как и всякая другая ценность, всегда находит своих фанатиков — людей, готовых отдать почти все за эту ценность. Итальянская журналистка Феллачи попробовала описать такой тип личности в книге "Человек". Ее герой — реальный политический деятель Греции, органически не переносит власть. Начав с борьбы с хунтой, он оказывается неспособным потом войти в коалицию ни с каким другим политическим направлением или партией.

В России и после Сталина появились люди, которые готовы были пойти (и шли!) в тюрьму ради свободы. Так называемое правозащитное движение добивалось именно свобод, и не более того. Да и все либеральное движение 60-х годов, возглавляемое духовно "Новым миром", а потом Сахаровым было озабочено тем же, а не такой, например, ценностью как равенство. В этом, кстати, принципиальное отличие советских и американских либералов.

Однако власть оказалась слишком сильной, а другие ценности слишком существенными, чтобы либеральное, а затем правозащитное движение могли достигнуть заметного успеха. Оба движения были без особого труда разгромлены. После сравнительно легкой победы над "Солидарностью"

это не должно нас удивлять. Сколь замечательными были свободолобивые традиции поляков, совершенно несравнимые с традициями русских. А результат тот же. Власть оказалась более сильным фактором, чем традиции свободы.

Почему же столь низкими оказываются шансы свободы? Во многих случаях это объясняется тем, что для ее достижения нужна организация, нужен отказ от свободы для членов этой организации.

В истории с Нечаевым, так рельефно описанной Достоевским в "Бесах", этот конфликт выражен с предельной ясностью. Большевики, отрекаясь от Нечаева, полностью пошли по его пути, создав мощную, дисциплинированную организацию, которая никогда не была демократической. И именно поэтому они победили, лишив россиян свободы еще в большей степени, чем те, которых они свергли.

Неудивительно, что русская интеллигенция после 1917 года глубоко антиреволюционна. И это служит на пользу существующей власти, которая страшится только массовых революционных движений, всегда руководимых в той или иной степени интеллигенцией.

Эта антиномия — для свержения власти нужна другая власть — является одним из мощных, если не самым мощным средством защиты господствующей системы, которая всегда имеет принципиальное преимущество перед ее потенциальными противниками.

Ведь если интеллигенция сама выступает против революции, это создает явно благоприятные условия для тех, кто уже командует и имеет доступ к кнопкам. В Польше ситуация в 1980 году была другой. Там удалось почти чудом создать антиправительственную организацию. Однако, как теперь очевидно, поляки не решались (или не смогли) сделать свою организацию более монолитной и централизованной, чем любые другие движения в социалистических странах.

Понимая обреченность всяких попыток создать в СССР организацию, участники правозащитного движения выдвинули лозунг прямо противоположного характера — полная гласность в деятельности самого движения. Однако это об-

стоятельство не принесло успеха и не защитило это движение от полного разгрома. Главный фактор, на который оно рассчитывало, — западное общественное мнение — оказался абсолютно беспомощным в условиях обострения отношений между США и СССР.

Никогда в истории власть не была столь всемогуща, а население столь беспомощно, как в социалистическом обществе. Эта беспомощность демонстрируется не только неспособностью населения защитить себя от репрессий, но и в том, что правители такие, как, скажем, Чаушеску, могут позволить себе удовлетворять любые свои прихоти. Они командуют так, как командовали бы абсолютистским государством (Чаушеску сделал жену вторым человеком в государстве, поручил важнейшие посты своим родственникам и т.д.).

Как же в таких условиях растущая роль свободы в качестве ценности влияет на всю динамику социалистического общества?

Самый серьезный шанс связан с возникновением ситуации, когда в верхах возникает острый кризис государственной и партийной власти. В этих условиях массы могут пробиться в плюралистическую структуру, которая сделает невозможной предшествующую концентрацию власти. Такой "прорыв" возможен только тогда, когда население действительно высоко ценит свободу. Нечто похожее происходило в Чехословакии в 1968 году и в Польше в 1980.

Однако в "малых" социалистических странах успешный ход событий маловероятен из-за советского вмешательства, а в СССР в значительной степени из-за многонационального характера государства: всякое движение в сторону свободы означало бы почти мгновенный распад советской империи.

Китай, возможно, имеет больше шансов из-за своей этнической однородности. Так же, как и те социалистические страны, которые (как Куба или Албания) находятся вне сферы прямого военного воздействия СССР.

## СВОБОДА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОЗЫРЬ

То обстоятельство, что свобода является важной социальной ценностью, побуждает политическую элиту использовать ее в своих интересах, подобно тому как она использует стремление людей улучшить свое материальное благосостояние. В известном смысле уже теперь любой лидер или претендент на лидерство испытывает воздействие того, что в сознании населения социалистических стран свобода как ценность приобретает все больший вес — фактор в общем новый для них.

Не находясь в прямой зависимости ни от одной социальной группы, лидер, однако, заинтересован в популярности и тем более культе своей личности. Это необходимо ему для того, чтобы ослабить шанс противника сбросить его с занимаемого места. Популярность, которую лидер никогда не решится подвергнуть испытанию в выборах, служит известной заменой "законной" легитимности. Мы не знаем обстоятельств формирования смехотворного культа Брежнева во второй половине 70-х годов, настолько нелепого, что естественными были подозрения — а не был ли он организован теми, кто планировал дискредитацию Брежнева в будущем. Однако этот культ мог стать возможным только потому, что Брежнев понимал, насколько принципиально важно значение личной популярности лидера.

Введение новых или расширение старых свобод является одним из козырей, которые лидер или его противники всегда могут использовать. К этому, в частности, активно прибегал Хрущев и, видимо, на известном этапе Ден Сяопин.

Нет спора, использование свободы как средства достижения популярности — одно из самых опасных, если не самое опасное для власти средство. Собственно говоря, к этому во многом и сводился конфликт Хрущева с Молотовым и его сторонниками, отстаивавшими необходимость преемственности со сталинским периодом.

Хрущев вызвал возмущение многими своими шагами, в частности в сельском хозяйстве. Не говоря уже о том, что он

настроил против себя партийный аппарат, армию и КГБ. И все-таки Хрущев завоевал немалую популярность среди интеллигенции — обстоятельство, которому он, при всех его шараханиях, придавал, будучи хорошим политиком, немалое значение.

Поэтому демократическое движение 60-х годов и особенно правозащитное движение 70-х годов только внешне потерпели поражение. Ни один политический деятель России уже не сможет его игнорировать и ни один не сможет не задуматься над тем, как его возродить в своих же интересах. Неважно, что Брежнев превратил боьбу с ним в одну из главных задач своего правления. Ничего в этом смысле не докажет и то, что его преемник будет продолжать или даже ужесточать эту политику. Рано или поздно найдется лидер, который соблазнится этой "картой", если в борьбе за власть она покажется ему эффективной. Ведь в истории самой России и других стран можно найти множество примеров, когда политические деятели типа Витте видели в демократизации спасение данной власти от гибели.

## ПРЕЗРЕНИЕ К МАССАМ

Существует вместе с тем много препятствий, и в известной степени непреодолимых для того, чтобы социалистический лидер использовал свободу в своих целях.

Дело в том, что сильная власть основывается на глубоком пренебрежении к рядовому человеку и его способности действовать рационально — даже в своих собственных интересах. И тут малообразованный диктатор приходит часто к тем же выводам, что и изощренный ученый-технократ. Наука и власть как бы объединяются в их презрении к человеку с улицы. Неудивительно, что Америка долгое время, как свидетельствует, например, книга Гофстадтера "Антиинтеллектуализм в Америке" (1962) одинаково враждебно и подозрительно относилась и к политикам и к "яйцеголовым" — интеллектуалам, — которые способствовали и прислуживали власти, собственной или иностранной.

Люди в Кремле всегда были уверены, что демократия России не нужна не только потому, что это было им чрезвычайно выгодно, но и потому (и на этот раз они были искренни), что рядовой человек не испытывает потребности в свободах и способен выжить в обществе без нее. Это презрение к массам составляет важнейший элемент того, что я называю латентной идеологией элиты и что будет предметом моих последующих размышлений.

Для того чтобы политический деятель в социалистической стране мог использовать тягу людей к свободе, он сам должен хотя бы в какой-то степени уважать рядовых людей и понимать важность свобод для них. Это внутреннее убеждение довольно существенно в той рискованной игре, которую он может затеять, имея множество опасных противников в аппарате на всех его уровнях. Для этого лидер должен уважительно относиться к таким фигурам, как Лех Валенса, рассматривать его как действительно народного трибуна, а не как тщеславного человека, которого ЦРУ и близкие к нему силы использовали в своих интересах. Для этого он должен поверить, что Сахаров опять-таки не человек с манией величия или же просто психически больной, а выразитель глубинных чаяний значительной части населения страны.

Кроме того, правитель должен преодолеть типичное для советских лидеров неверие в рациональность саморегулирующего механизма и его способность решать достаточно важные задачи. История знает мало примеров, когда люди, находящиеся у власти, действовали в пользу "демонтажа" государственного регулирования.

Экономические реформы в СССР и других социалистических странах, способствующие усилению самостоятельности участников экономического процесса, в общем антипатичны аппаратчику и тем, кто стоит наверху. Аппаратчик убежден (и во многих случаях может привести основательные факты в пользу своего взгляда), что эта самостоятельность обернется возросшей коррупцией чиновников, необоснованным ростом цен, игнорированием общегосударственных интересов. Подоспевшие компьютеры вселяют в аппаратчика надежду,

с их помощью он решит главные проблемы управления лучше, чем, предоставляя людям свободу действий.

Политическая элита, однако, должна считаться со свободой своих граждан именно из тех же экономических соображений. При всем недоверии к децентрализации руководители недемократического общества не могут полностью отрицать, что уровень свободы влияет на общую психологическую атмосферу в стране и через нее воздействует на профессиональную деятельность граждан.

## ГОСПОДСТВУЮЩИЙ КЛАСС В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Политический характер общества советского типа (или решающая роль политической власти как способа координации человеческой деятельности) не нуждаются в доказательствах. Вместе с тем — и здесь один из самых ярких парадоксов истории — таинственность этого общества состоит в том, что субстрат этой власти, ее, так сказать, носитель, не столь уж очевиден.

Многим это утверждение может показаться нелепой игрой ума. Разве все мало-мальски объективные исследователи советской системы не согласны с тем, что именно это общество является "классовым", классовым не только и не столько в том смысле, что в этом обществе легко выделить определенные социальные группы, но прежде всего потому, что в нем явно выделяется партийная бюрократия, тот самый "новый класс", о котором писал в свое время Троцкий, а совсем недавно Джилас.

Заметим, что для тех, кто прошел марксистскую школу, применение понятия "господствующий класс" к советскому обществу доставляет особое мазохистское наслаждение: "Вот, мол, нате, против вас самих же обращаем ваше же собственное оружие!"

Конечно, многое за то, чтобы, не мудрствуя лукаво, именно так охарактеризовывать социальную структуру советского



общества. Разве советский аппаратчик не подходит под известные определения класса, и при том господствующего? Разве не он наслаждается разнообразными привилегиями, которые обеспечивают ему образ жизни, существенно отличный от того, который могут себе позволить другие?

Вебер, так же как и Маркс, использовал и третий критерий для выделения классов — собственность. Конечно, советский бюрократ вроде бы не обладает никакими материальными преимуществами по сравнению с представителями других классов. Член политбюро юридически не наделен специальными экономическими благами (в широком смысле этого термина), которыми он пользуется в данный момент. Его дети после смерти отца могут не унаследовать даже его дачи, а тем более привилегии, которыми он пользовался при жизни или до снятия с поста.

Правда, определение собственности как критерия классового образования дебатировалось уже давно и в отношении современного капиталистического общества. Даже марксисты, такие как Дарендорф, настаивают на том, что в современную эпоху власть выдвинулась в качестве основы стратификации для всех современных обществ, как капиталистического, так и социалистического.

Авторы, которые, признавая существование стратификации общества на классы, рассуждая о советском обществе, оказываются солидарными с теми западными марксистами, которые говорят о советской правящей элите как о господствующем классе.

Концепция "нормального" господствующего класса стала, естественно, базой для объяснения и предсказания многих процессов в советском обществе. Например, стало почти хрестоматийным объяснение падения Хрущева, как результат восстания против него партаппарата. Считается очевидным, что партийные функционеры, взбешенные хрущевскими реформами (особенно в аппарате, в частности, разделением Хрущевым партийного аппарата на промышленный и сельский) и организовали октябрьский переворот. Более того, многие советологи полагают, что открытая оппозиция аппара-

та началась задолго до октября 1964 года и находила, в частности, отражение в полемике на пленумах, а также в том, что Хрущев вынужден был маневрировать и отступить под давлением аппарата.

Та же идея, что власть в СССР представляет собой некий "исполнительный комитет" определенных социальных сил, разделяется многими другими экспертами, которые, модифицируя понятие аппарата, склонны говорить о некоем агрегате, состоящем из нескольких различных элементов: армии, высших менеджеров, КГБ и некоторых других "групп давления", включая интеллигенцию.

Последний подход даже более распространен, чем идея монолитного господствующего класса, так как она позволяет усложнить анализ того, что происходит в Москве. Это — обстоятельство немаловажного значения, вполне соответствующее марксистской традиции высокомерного отношения к так называемым "поверхностным объяснениям социальных явлений".

Интересный эпизод рассказал мне мой сын, после того как поработал в архиве Троцкого, находящемся теперь в Гарварде. Троцкисты были так уверены во всеисилии марксистского подхода к тому, что происходило в России в 30-е годы, что они категорически отметали (как поверхностные) любые предложения о том, что в партии идет просто борьба за власть, не имеющая ничего общего с "расстановкой классовых сил".

Они были на сто процентов уверены, что атака Сталина против Троцкого есть прямой результат растущего влияния... правых, стремящихся к реставрации капитализма в стране. Поэтому не было в их лексиконе более употребительного термина, чем "термидор". Да, Сталин и его политика означали приближающуюся угрозу контрреволюции, термидора и возвращения капиталистов и помещиков.

Их вера не была поколеблена, а скорее укрепилась, когда Сталин сослал их вождя в Алма-Ату, а их самих — в Сибирь. И переселившись из собственных квартир в лагеря Гулага, они продолжали твердить о термидоре и происках классовых врагов, возглавляемых Сталиным.

В самое новейшее время, в период восхождения к власти Андропова, был повторен опять тот же анализ, что и тогда, когда к власти пришел его предшественник. Андропов — креатура военных и КГБ, в то время как Черненко — ставленник партийного аппарата. Косыгин как представитель технократов противопоставлялся Брежневу. Точно так же Черненко противопоставляется Андропову. Даже реформа хозяйственного управления в 60-е годы изображалась как реформа Косыгина, *направленная против партийной бюрократии*, которая и выиграла сражение с директорами предприятий и руководителями промышленных министерств.

Нет числа подобных примеров анализа советской высшей политики. Впрочем, некоторые авторы пошли еще дальше. Они, как, например, Янов, уже не удовлетворяются понятием партийной бюрократии как господствующего класса, а также тем, что даже интеллигенция вместе с директорами предприятий составляет, как это полагают Конрад и Шеленьи, "новый класс", но склонны даже утверждать, что советское руководство и соответствующие правительственные органы маневрируют под давлением разных социальных сил, включая трудящихся, потребителей, ученых и т.д. Для некоторых из этих авторов Центральный комитет КПСС превратился в своего рода советский парламент, который отражает интересы различных слоев советского населения.

Что же думаю я по этому вопросу?

Совершенно отбрасывая концепции, рассматривающие различные социальные группы как носителей власти, имеющих свой "пай" в управлении государством, я вместе с тем не без страха хочу подвергнуть сомнению и "бюрократическую" теорию господствующего класса в советском обществе.

В известном смысле тот подход, который я буду развивать, перекликается с давнишними спорами о природе так называемого азиатского способа производства или характере социальной структуры восточных деспотий. Эти государства всегда ставили в тупик тех, кто оперировал марксистскими категориями, в их ортодоксальном или модернизированном виде.

Действительно, как будто бы твердо известно, что власть деспота была настолько неограниченной, что участь самых высоких сановников была в конце концов не лучше, а даже хуже, чем судьба самого последнего крестьянина, далекого от двора, где снимались головы по первой прихоти самодержца.

Абсолютистские монархии в Европе, включая Россию, сильно отличались в этом отношении от Востока. Прежде всего потому, что они признавали существование наследственного класса дворянства. Конечно, дворянские головы частенько летели в России (вспомним бироновщину), однако — и это чрезвычайно важно для понимания советского общества — казни дворян и лишение их собственности в общем были исключением и даже в самые жуткие времена затрагивали только небольшую часть земельных собственников.

## НАСЛЕДОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Возможность передачи по наследству достигнутых привилегий, богатства, социального статуса и вместе с этим стабильность — вот что всегда было главной задачей тех, кто впоследствии был назван "господствующим классом". По сути, даже пожизненная стабильность, гарантия сохранения текущего статуса, невозможны без института наследования. Оно, наследование, как бы защищает на дальних подступах нынешнее прижизненное положение.

Наследование — один из древнейших и, я бы сказал, биологически детерминированных институтов — является гарантом той стабильности, которая несет обществу и возможность противостояния несправедливости и в то же время мощный стимул для деятельности, равно как и снижение к минимуму издержек, связанных с "переходными периодами".

Впрочем, то, что здесь сказано, можно охарактеризовать вообще как условия человеческого прогресса. При этом наследование и собственность в известном смысле понятия синонимичные. Римское понятие собственности, знаменитая

триединая формула (пользование, владение и распоряжение) непременно предполагало и право передавать по наследству.

Советское общество в известном смысле лишено собственности, но, как это отметил неведомый автор из Восточной Европы, скрывающийся под псевдонимом Казальс, живет в "вакууме собственности".

Если использовать наследование как внешний индикатор существования собственности, то объектом последней является крайне небольшая часть материальных благ, имеющих в стране. Личная собственность граждан вряд ли может претендовать на более чем несколько процентов национального богатства, если мы вспомним о существовании "орудий и средств производства" жилого фонда, культурных и медицинских учреждений и многое другое.

Конечно, собственность можно и следует рассматривать и более широко. Знания, навыки и социальные связи значат немало, однако все-таки их влияние на будущее новых поколений нельзя переоценивать. Даже самые въедливые критики советской системы вынуждены признать, что число детей аппаратчиков, которые заняли место в аппарате, не столь уж велико. Куда более существенно отсутствие органической стабильности социального статуса любого члена советского общества, кроме тех, кто находится в самом низу.

## СОВЕТСКИЙ АППАРАТЧИК

Советский бюрократ резко отличается от помещика или капиталиста именно потому, что он лишен той стабильности, какая характерна для земельного собственника или владельца капитала. Кроме того, его отличает от них отсутствие возможности принимать стратегические решения, касающиеся людей, находящихся в его подчинении.

Рассмотрим эти два обстоятельства подробнее.

В течение советской истории аппаратчики пережили много неприятных периодов. Особенно трагическим был для них пресловутый тридцать седьмой. В период сталинского терро-

ра именно аппаратчик, а не кто-либо иной, был главным объектом террора. Сталин уничтожил несколько слоев бюрократов, сменявших тех, кто были уничтожены ранее. Никто не жил в таком всеохватывающем страхе, как партийный, военный или хозяйственный руководитель и, конечно же, сами энкаведисты.

Теории о том, что партийная и близкая к ней бюрократия является "полноценным" господствующим классом, не выдерживают даже секундного соприкосновения с 1937 годом.

Вряд ли срабатывает и другой широко распространенный среди марксистов прием — лихо игнорировать факты, противоречащие их схемам: де сталинский период был исключен. Судьба аппаратчиков оказалась столь же катастрофической и в другой стране, почти через тридцать лет после Сталина. Я имею в виду Культурную революцию в Китае, во время которой за аппаратчиками охотились не только органы безопасности, но и "широкие массы трудящихся", или "эксплуатируемые" классы социалистического общества.

В связи со становлением нового режима после Брежнева стало очевидным, что он способен обеспечить экономический подъем только в том случае, если сумеет справиться с коррупцией, которая в 70-е годы достигла невиданного размера. В полуправильную и нелегальную деятельность оказалось втянутым большинство аппаратчиков и хозяйственников. Можно ли обновить почти полностью аппарат, партийный и хозяйственный?

Технически — при наличии единства в политбюро или одного хозяина в этом органе — такая задача не кажется сложной. Нет активных сил, которые могли бы препятствовать смене в течение нескольких месяцев всех 150 секретарей обкомов или полсотни министров. Далее задача уже решается новыми руководителями второго уровня. Аппарат практически и не пикнет в процессе этой операции. Уж конечно, аппаратчики не выйдут на улицу с плакатами, требующими восстановления их на работе. Но что действительно сдерживает любой режим, который хочет бороться с коррупцией, — это страх, что резкая смена аппарата деморализует всех чиновников, в том чис-

ле тех, кто может прийти им на смену. А это обстоятельство может пагубно сказаться на функционировании всей системы. Страх перед дезорганизацией и пассивным сопротивлением бюрократов является единственным защитником их перед верховной властью. Из страха вырастает сопротивление.

Заметим в этой связи, что смещение активного и пассивного сопротивления отдельных групп власти является одной из самых типичных ошибок при анализе системы советского типа.

Если активное сопротивление предполагает организацию и "сознательную" координацию деятельности членов данной группы или класса, то пассивное сопротивление предполагает, что большинство членов группы просто саботируют выполнение приказов начальников. Советское общество — это общество, где именно пассивное, а не активное сопротивление масс является главным ограничением для деятельности элиты. Она никогда не может обладать властью, способной полностью исключить пассивное сопротивление масс и обходиться без разнообразных стимулов, способных побудить людей выполнять более или менее добросовестно приказы сверху. Пожалуй, только в концентрационном лагере сопротивление может быть сведено к нулю, да и то только в лагерях уничтожения, да и то не всегда.

Однако вернемся к бюрократии. В системе советского типа (да и не только в ней) существует глубокая пропасть между высшей властью в лице политбюро (или хунты) и всей бюрократией в целом. Было бы неправильно полагать, что высшие уровни бюрократии плавно переходят в верховную власть и что различие между высшим уровнем бюрократии и политбюро, с одной стороны, и тем же уровнем бюрократии и следующим, более низким уровнем, примерно одинаковое. В условиях, когда член политбюро становится полновластным лидером (Сталин с середины 20-х годов, Хрущев после 1957 и Брежнев после 1974 года), все другие члены политбюро почти присоединяются к бюрократии и становятся принципиально малоотличными от ее высшего уровня.

В чем же заключается кардинальное различие между верховной властью и бюрократией, даже если взять только ее высший слой? Во-первых, любой бюрократ может быть в мгновение смещен, в то время как сама бюрократия, в отличие от "реальных" групп давления на Западе, практически не влияет на формирование верховной власти. Во-вторых, и на этом мы остановимся подробнее, бюрократия лишена права принимать мало-мальски серьезные решения в любых сферах деятельности.

Начнем с кадров, с самого важного вопроса для политической системы советского типа. Конечно, даже чисто физически члены политбюро не в состоянии уследить за назначением аппаратчиков на всех уровнях иерархии, хотя к этому они всегда стремятся. Именно об этом и говорит пресловутая номенклатура, которая в первую очередь призвана обеспечить контроль руководства над назначением как можно большего числа людей во всех сферах общества.

Именно поэтому верховная власть назначает не только весь следующий уровень иерархии, но и по существу несколько следующих. Не только кандидатуры заместителей министров СССР, но и начальников главков, особенно основных министерств (и уж, конечно, КГБ и армии) обсуждаются на самом верху. Многие последующие уровни иерархии также держатся под прямым (а не косвенным) контролем. По сути аппаратчики высшего уровня весьма ограничены в подборе своих непосредственных подчиненных. Благодаря этому последние выполняют важнейшую для системы роль контроля за своими начальниками.

Конечно, не следует преуменьшать возможности аппаратчика в кадровом вопросе. Секретарь обкома по сути полностью контролирует кадры районного уровня, многочисленных областных учреждений и своего партийного комитета. Если у него хорошие отношения с высшим руководством, то оно соглашается утверждать и его непосредственных подчиненных и других высших областных чиновников.

Но даже секретарь обкома, как и другие высшие чиновники, подчиняется принципам кадровой политики, принятым

наверху. Он не может назначать евреев на разные должности, если это запрещено на самом верху. Он не рискнет назначать людей с либеральным прошлым, если опять-таки это не поощряется в политбюро. В общем, при всем масштабе власти бюрократа, особенно регионального (ибо Москва физически далеко) он и в кадровой сфере именно аппаратчик, а отнюдь не полновластный хозяин.

Но дело не только в кадрах. Аппаратчик обладает крайне ограниченными возможностями принимать важные решения по существу. И он ограничен не своим непосредственным начальником, который часто может столь же мало, а волей хозяев в политбюро, или одного хозяина. Ни в одной области он не в состоянии изменить более или менее радикальным образом организацию дела.

Более того, чем меньше начальник, тем больше он может проявить инициативы, хотя бы потому, что он не так на виду. Впрочем, последствия от его нововведений будут пропорциональны масштабам его деятельности.

"Система" лишила возможности осуществлять социальные нововведения практически всех граждан, включая самые большие чины.

Сравнение в этом отношении советского общества с западным, в частности американским, поразительно. Сколько возникает в Америке чуть ли не каждый день реальных новых "починов": новых форм обслуживания населения, новых типов фирм, новых форм взаимосвязи между ними и т.д. Каждая отрасль американской экономики мощно "пульсирует", приспособляясь к новым обстоятельствам. Я вовсе не хочу расхвалить капитализм и как экономическую и как социальную систему. Но реальная эластичность американской системы — это факт, который нельзя не признать, хотя этой эластичности может и не хватить для преодоления каких-то органических пороков. Однако это допущение лежит в области теории. На практике пока капиталистическая экономика справлялась с задачами, которые ставили перед ней технический прогресс и развитие общества.



*Юлиус ТЕЛЕСИН*

## ИСПРАВЛЕННЫЙ ХЕМИНГУЭЙ, ИЛИ ПО КОМУ СТРИГУТ НОЖНИЦЫ

Один из жанров самиздата — купюрные приложения к официальным советским изданиям. В мое время наибольшей известностью пользовались тексты купюр к роману М.Булгакова "Мастер и Маргарита". Купюроведение (кромсогония) — молодая наука. Она не только не сделала попыток систематизировать и обобщить обильно поставляемый советской цензурой материал, но и плохо справляется с первичной работой — накоплением такого материала.

В частности, еще очень мало изучены цензурные изъятия в официальных переводах на русский язык произведений иностранных авторов. Казалось бы, нет ничего проще, чем сличить оригинал с переводом. Но для этого нужно, как минимум, иметь и то и другое. И если в Советском Союзе не так просто достать оригинал, то на Западе трудно сыскать русский перевод. Какой, например, американский университет станет выб-

расывать деньги, заказывая для своей библиотеки американских классиков по-русски? Но на этом трудности не кончаются. Так, в СССР плохо обстоит дело со знанием иностранных языков. На Западе же советологам некогда заниматься собиранием фактов — им нужно создавать концепции.

В конце 60-х годов в Москве кем-то был составлен список купюр к роману Хемингуэя "По ком звонит колокол". Скорее всего, эта работа производилась путем сверки не с английским оригиналом, а с самиздатским переводом, который циркулировал задолго до выхода в 1968 г. официального четырехтомника Хемингуэя. Возможно, именно бесконтрольное хождение самиздатского текста романа, где было переведено все подряд, без разбору, подстегнуло выход официальной, окончательно отделанной версии Хемингуэя. Недаром самиздатский Хемингуэй забирался при обысках, хотя мне и неизвестны случаи, когда бы он в дальнейшем фигурировал на суде в качестве улики.

При сверке было обнаружено семнадцать купюр и один подлог. Получив от кого-то этот купюрный список (я тогда еще жил в Москве), я вклеил между страницами своего экземпляра официальной книги полоски с текстами купюр, а в некоторых случаях (короткие изъятия) вписал от руки прямо в книгу. Через некоторое время после моего отъезда в Израиль мне удалось получить этот экземпляр.

Здесь эти купюры приводятся в прямых скобках вместе с текстом, в котором они сделаны. Цифры в круглых скобках обозначают: первая — страницу по изданию Penguin (Harmondsworth. 1973); вторая — по третьему тому советского официального издания. По ходу дела приводятся возможные объяснения относительно каждой купюры.

1

Любопытно, выдержит ли этот тезис дальнейшее углубление. Вероятно, потому коммунисты так воют с духом богемы. /Когда пьешь, когда творишь блуд или прелюбодеяние, то в собственной слабости видишь признак уязвимости партийной линии, этого неустойчивого заменителя веры апостолов./ Долой богему, то, чем грешил Маяковский. Но ведь Маяковский теперь снова причислен к лику святых. Да,

потому что он уже покойник. Ты и сам скоро будешь покойником. Ну, нечего думать о таких вещах. Думай лучше о Марии (159; 284).

Отмеченные пороки не свойственны коммунистам, партийная линия неуязвима, сравнение ее с религией кощунственно.  
2 и 3

Там, у Гэйлорда, можно было встретить знаменитых испанских командиров, которые в самом начале войны вышли из недр народа и заняли командные посты, не имея никакой военной подготовки и, оказывалось, что многие из них говорят по-русски. Это было первое большое разочарование, испытанное им несколько месяцев назад, и оно навело его на горькие мысли. Но потом он понял, в чем дело, и оказалось, что ничего тут такого нет. Это действительно были рабочие и крестьяне. Они участвовали в революции 1934 года, и, когда революция потерпела крах, им пришлось бежать в Россию, и там их послали учиться в Военную академию /и в Ленинскую школу Коминтерна/ для того, чтобы они получили военное образование, необходимое для командира, и в другой раз были готовы к борьбе. /Коминтерн воспитал их./

Во время революции нельзя выдавать посторонним, кто тебе помогает, или показывать, что ты знаешь больше, чем тебе полагается знать. Он теперь тоже постиг это. Если что-либо справедливо по существу, ложь не должна иметь значения (220; 354).

Целесообразность этих купюр объяснена самим Хемингуэем в последнем абзаце приведенного отрывка.

4

Кашкин наговорил о Роберте Джордане бог знает чего, и Карков первое время был с ним оскорбительно вежлив, но потом, когда Роберт Джордан, вместо того чтобы корчить из себя героя, рассказал какую-то историю, очень веселую иставляющую его самого в непристойно-комическом свете, Карков от вежливости перешел к добродушной грубоватости, потом к дерзости, и они стали друзьями.

/Кашкина у Гэйлорда только терпели. Очевидно, с Кашкиным что-то было неладно, и он это искупал в Испании. В чем именно дело — ему не говорили, может быть, скажут теперь, когда Кашкина уже нет. Так или иначе, но с Карповым он подружился, и подружился с высокой, черной, невероятно худой, нервной, любящей, покинутой и беззлойной женщиной с тощим нехоленным телом и коротко подстриженными черными с проседью волосами; она была женой Каркова и работала переводчицей при танковом корпусе. Подружился он и с любовницей Каркова, у которой были кошачьи глаза, рыжевато-золотистые волосы (иногда более, иногда менее золотистые, это зависело от парикмахера), томное, чувственное тело (созданное для близости с другими телами), губы, созданные для других губ, мало ума, много честолюбия

и весьма прямолинейный взгляд на вещи. Эта любовница обожала сплетни и время от времени любила разнообразить свою личную жизнь, что Каркова, по-видимому, только забавляло. Говорили, что кроме жены на танкового корпуса у Каркова есть еще одна жена, возможно, даже две, но наверняка этого не знал никто. Роберту Джордану нравились и жена и любовница. Он был уверен, что другая жена, если она есть, тоже понравилась бы ему. У Каркова был хороший вкус./

У ворот отеля Гейлорда стоят часовые с примкнутыми штыками, и сегодня вечером это самое приятное и самое комфортабельное место в осажденном Мадрида (222-223; 357).

Карков — весьма высокопоставленный коммунист. Его моральный кодекс не мог ему позволить иметь трех жен, да еще любовницу впридачу.

5

Гольц был хороший командир и отличный солдат, но его все время держали на положении подчиненного и не давали ему развернуться. Готовящееся наступление было его первой крупной операцией, и пока Роберту Джордану не очень нравилось все то, что он слышал об этом наступлении. /Был еще Галь, венгерец, которого следовало расстрелять, если поверить хотя бы половине того, что о нем говорилось у Гэйлорда. Если можно верить хотя бы десяти процентам того, что говорится у Гэйлорда, подумал Роберт Джордан./

Он жалел, что не видел сражения на плато за Гвадалахарой, когда итальянцы были разбиты. Он тогда был в Эстремадуре (224; 358).

Явный абсурд. Если бы коммуниста Галя следовало расстрелять, то он был бы уже расстрелян и не мог "быть" ни тогда, ни вообще когда-либо.

6

Они были коммунистами и сторонниками железной дисциплины. Дисциплина, насаждаемая ими, сделает из испанцев хороших солдат. Листер был особенно строг насчет дисциплины. /Он был настоящим фанатиком и чисто по-испански ни во что не ставил жизнь человека. Со времен татарского нашествия немного можно насчитать армий, где бы людей казнили за такие мелкие проступки, как это было у него./ И он сумел выковать на дивизии настоящую боеспособную единицу (225; 359).

Клеветнический факт. Коммунисты казнят только за крупные проступки.

7

— Хорошо, — сказала она, и потом: — О Роберто, мне так жаль, что я сегодня такая. Может быть, я могу сделать для тебя еще что-нибудь?

Он погладил ее по голове и поцеловал ее, а потом лежал, прижавшись к ней и удобно вытянувшись, и прислушивался к тишине ночи.

— Вот можешь поговорить со мной про Мадрид, — сказал он и подумал: это останется при мне и пригодится мне на завтра. Завтра мне понадобится все, что только у меня есть. /Еловым иглам это не так нужно, как завтра понадобится мне. Кто это в Библии пролил свое семя на землю? Онан. А чем там кончилось с Онаном? — подумал он. Что-то я больше не помню про Онана./ Он улыбнулся в темноте (324; 471).

Библия... Онан... Очень уж какая-то немарксистская тема. Кому все это нужно?

8, 9 и 10

Войдя в комнату, Карков прежде всего подошел к женщине в форме, поклонился ей и пожал руку. Это была его жена, и он сказал ей что-то по-русски так, что никто не слышал, и на один миг дерзкое выражение, с которым он вошел в комнату, исчезло из его глаз. Но оно сейчас же опять вернулось, как только он заметил красноватые волосы и томно-чувственное лицо хорошо сложенной девушки, /которая была его любовницей/, и он направился к ней быстрым, четким шагом и поклонился /и пожал ей руку, так что каждый должен был усмотреть в этом преднамеренную пародию на его приветствие жене/. Жена не смотрела ему вслед, когда он отошел. Она повернулась к высокому красивому офицеру-испанцу и заговорила с ним по-русски.

— Твой предмет что-то растолстел за последнее время, — сказал Карков девушке. — Все наши герои стали толстеть с тех пор, как мы вступили во второй год войны. — Он не глядел на человека, о котором шла речь.

/— Ты такой урод, что готов ревновать даже к жабе, — весело ответила ему девушка./ Она говорила по-немецки. — Ты меня завтра возьмешь с собой в наступление? (337-338; 487).

Со стороны цензора было бы непростительной небрежностью не произвести здесь необходимую хирургию, коль скоро он вычистил и предыдущий текст (см.4).

11 и 12

— Карков, — окликнул его человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка. — Слыхали приятную новость?

Карков подошел к нему, и он сказал:

— Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Новость замечательная. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же. Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов.

— Это верно? — спросил Карков.

— Абсолютно верно, — сказал человек, у которого были мешки под глазами. — Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая, какой я ее никогда не видал. Она словно вся светилась от этой новости, /— Это вдохновенное лицо... — сказал он восторженно.

— Это вдохновенное лицо, — сказал Карков без всякого выражения в голоса.

— Если бы вы только ее слышали, — сказал человек с мешками под глазами. — От радостной новости она вся светилась каким-то неземным светом./ Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом в статье для "Известий". Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут La Pasionaria.

/— Недаром, — скучным голосом подтвердил Карков. — Вы бы лучше поскорее записали это для "Известий", а то забудете последний блестящий пассаж.

— Над этой женщиной никто не смеет шутить. Даже такой прожженный циник, как вы, — сказал человек с мешками под глазами. — Если б вы были при этом и слышали ее, и видели ее лицо!

— Этот вдохновенный голос, — сказал Карков. — И это вдохновенное лицо-/ Запишите это, — сказал он. — Не говорите все это мне. Не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите (338-339; 488).

Генеральная секретарша компартии Испании Долорес Ибаури — особа священная и обсмеиванию не подлежит. Кроме того, Карков не мог быть циником.

13 и 14

Я помню то время, когда Ларго казался мне неплохим человеком. Дуритти тоже был хороший, но свои же люди расстреляли его в Пуэнте-де-лос-Франкасес. Расстреляли, потому что он погнал их в наступление. Расстреляли во имя великолепной дисциплины недисциплинованности. /Трусливые свиньи./ Да ну их всех к чертовой матери. А теперь Пабло взял да и смылся к чертовой матери с моим взрывателем и детонаторами. Пропади они пропадом ко всем чертям. Нет, это он послал нас к чертям. Все они так делали, начиная с Кортеса и Менендеса де Авила и кончая Миахой. Вспомни, что сделал Миаха с Клебером. Себялюбивая лысая свинья. Тупая гадина с головой точно яйцо. Ну их к чертовой матери, всех этих оголтелых, себялюбивых, вероломных свиней, которые всегда правили Испанией и командовали ее армиями. К чертовой матери всех — только не народ /да и то потом

гляди в оба — во что он превратится, когда получит власть в свои руки/.

Его ярость начала понемногу утихать... (350; 501).

Первая купюра — огульное оскорбление в адрес бесстрашных революционеров. Вторая — у г о л о м ы с л и е (уголовное, преступное мышление).

15

Мarti встал. Он не любил Каркова, но Карков, приехавший сюда от "Правды" и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из /трех/ самых значительных фигур в Испании.

Если бы это слово "трех" было оставлено, каждый читатель непременно задался бы вопросом: а кто эти трое? Любопытство абсолютно ненужное и даже вредное. Действительно, читатель мог бы при желании выяснить, что "самые значительные фигуры" — генеральный консул в Барселоне В.Антонов-Овсеенко, его помощник А.Сташевский, советский посол в Мадриде М.Розенберг, генерал Берзин и другие — были расстреляны как "враги народа". Он также мог бы установить, что в романе под именем Каркова ("одного из трех") скрывается корреспондент "Правды" Михаил Кольцов, тоже расстрелянный "враг народа". Тогда читатель Хемингуэя мог бы очередной раз удивиться: как это возможно, чтобы столь славное коммунистическое прошлое создавалось столь плохими людьми?

Мне могут возразить, что многие из них были посмертно реабилитированы. Но официальный советский орган "Литературная газета" (26 июня 1968 г., цензор А-00830) официально разъяснил:

"Незадолго до окончания войны он /Кольцов, — Ю.Т./ был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбыл наказание в лагерях. В 1957 году реабилитирован".

Поскольку наказание не бывает без преступления, то процитированные слова ясно доказывают, что реабилитация не снимает вины. Человека просто прощают (возможно, временно), его прошлое не забывают.

Те же читатели Хемингуэя, которые предпочтут проигнорировать разъяснение "Литературной газеты" и будут продолжать считать реабилитированных хорошими людьми, мо-



гут задаваться еще более неуместным вопросом: почему палачи этих хороших людей все еще на свободе и даже часто занимают высокие посты?

Всех этих нежелательных направлений мысли можно избежать очень просто, удалив злополучное слово "трех".

16и17

**Карков верил, что его доступность приносит добро, он верил в силу доброжелательного вмешательства. /Это была единственная тема, на которую на распространялся его цинизм./**

— Знаете, в СССР мне пишут на адрес "Правды" даже из какого-нибудь азербайджанского городка, если там совершаются несправедливости. Вам это известно? Люди говорят: Карков нам поможет.

Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном: Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. Прекрасно, Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь.

— Тут дело обстоит насколько по-иному, — продолжал Карков, — но в принципе это одно и то же. Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна, товарищ Марти. /И мне бы очень хотелось знать, нельзя ли переменить название того тракторного завода./

**Андре Марти отвернулся от него и уставился на карту (400; 559).**

Автор не только упорствует в своем заблуждении, считая Каркова циником, но идет еще дальше. Оказывается, единственная тема, на которую не распространяется цинизм Каркова — это вовсе не генеральная линия партии (тогда бы, пожалуй, многое можно было ему — Хемингуэю — простить), а нечто неизмеримо более мелкое — мелкобуржуазное доброжелательное вмешательство — этаким абстрактный гуманизм!

Прежде чем переходить ко второй купюре процитированного отрывка, необходимо выяснить еще одно, весьма существенное цензурное улучшение. Дело в том, что никакого Марти у Хемингуэя нет! Есть Андре Масарт, высокопоставленный французский коммунист. Этот литературный герой заменен в русском переводе на весьма конкретного Андре Марти, действительно являющегося прототипом Масарта.

Возникают вопросы: почему цензура заменила образ прототипом? Почему этого не произошло в других случаях? Карков, например, не заменен М.Кольцовым, а "человек с мешками под глазами" — И.Эренбургом. Можно ли вывести общее правило, которым должен руководствоваться цензор

при решении вопроса, заменять ли литературного героя его прототипом?

Все дело в том, что из всех героев романа лишь Андре Масарт удовлетворяет одновременно двум условиям: сам герой отрицателен, его прототип отрицателен тоже. Этого комплекса условий нет в других случаях. Хотя М.Кольцов, прототип Каркова, и был расстрелян как "враг народа", но зато его литературный образ положителен. Точнее, стал положительным после доброжелательного вмешательства цензора. Поэтому заменять Каркова Кольцовым нельзя — получится, что расстреляли хорошего человека. Человек с мешками под глазами хотя и выглядит несколько дураковатым, зато начисто лишен всеразъедающего скепсиса — его можно считать положительным героем. Прототип его от коммунизма не отлучался и анафеме не предавался, хотя в последние годы своей жизни и делал робкие попытки лишиться Доверия. В этом случае заменять героя не нужно, просто не стоит труда. Наконец, если представить себе отрицательного героя, прототип которого положителен, здесь замена просто недопустима. Это был бы вредительский акт!

Результаты наших исследований можно свести в таблицу:

Герой	Его прототип	Нужна ли замена
+	+	нет
+	—	нет
—	+	нет
—	—	да!

Вот он наш закон: только минус на минус дает плюс!

Остается лишь обосновать результат в последней строке нашей таблицы.

Отрицательный герой должен быть заменен своим отрицательным прототипом по двум причинам. Первая — чтобы читатель не спутал отрицательного прототипа с кем-нибудь положительным; лучший способ избежать такого недоразумения — слить героя с прототипом. Вторая — чтобы лишний раз напомнить отрицательность отрицательного прототипа, так сказать, закопать его еще глубже.

Итак, Андре Масарт должен быть заменен на Андре Марти, чтобы советский читатель чего доброго не подумал, что таким кровавым ничтожеством, каким изображен в романе Андре Масарт, был кто-нибудь еще неразоблаченный. Кроме того, читатель должен вновь преисполниться негодования при мысли об антипартийном фракционере Андре Марти.

Марти же действительно был разоблачен и исключен из партии. Иначе ведь судостроительный завод его имени в Николаеве (в романе — тракторный завод, см. 17) не был бы переименован, как это произошло в действительности. Факт переименования завода объясняет последнюю, семнадцатую купюру. Коль скоро завод именован Марти уже больше не называется, то, следовательно (вы внимательно следите?), он этим именем никогда и не назывался! Во все времена он мог называться только хорошим именем, в то время как Андре Марти оказался плохим, поскольку завод-то переименован! Таким образом, исходя из факта переименования завода, мы доказали строго логически (только логика была не формальная, а диалектическая!), что завод переименован не был. Поэтому фраза в тексте о заводе неуместна, и ее надо выкинуть.

## Григорий СВИРСКИЙ ПРОРЫВ

### *Роман о судьбе эмиграции из СССР*

*Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э. Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".*

*Джон Эриксон в "Сэнди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".*

*В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, чья судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.*

*Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные, человеческие драмы, через судьбы героев.*

*"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.*

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books  
2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

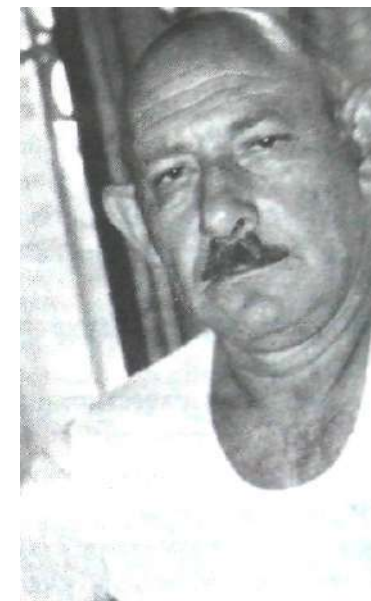
## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОДПОЛКОВНИКЕ ШЛОМО БАУМЕ

*Подполковник Шломо Баум — необычная в своем роде фигуре даже в израильском обществе.*

*30 лет назад он вместе с Ариэлем Шароном стоял у истоков знаменитого "Подразделения 101", созданного для борьбы с террористами. Десять лет назад Шломо Баум в третий раз вынужден был уйти в отставку, так и не реализовав своих замыслов. Между тем, по мнению ряда военных авторитетов, предложения Шломо Баума могли значительно увеличить эффективность израильских вооруженных сил.*

*В последнее время о нем вновь заговорили в Израиле. Чем же известен Шломо Баум? В Израиле считают, что он последовательно, остро и бескомпромиссно выражает взгляды израильских правых. Однако Шломо Баум известен не только этим. Он не менее последовательно и бескомпромиссно отстаивает определенную военно-стратегическую доктрину, которая пока что не находит поддержки у командования израильской армии (и, в частности, у такого известного военачальника, как Ариэль Шарон), но которая, по мнению самого Баума, могла бы принести Израилю куда большие военные успехи.*

*Впрочем, это уже тема нашего интервью, которое мы и предлагаем читателям.*



Шломо БАУМ

## О ВОЕННОЙ ДОКТРИНЕ ИЗРАИЛЯ ИЛИ МОИ РАСХОЖДЕНИЯ С АРИЭЛЕМ ШАРОНОМ

*Интервью с подполковником Шломо Баумом*

Моя военная карьера началась в 1946 году. Служить я начал в составе особого подразделения, которое действовало против англичан. Именно в то время я принял участие в операции "Ночь мостов". Израильские бойцы в одну ночь взорвали многие мосты и железнодорожные линии. Эта акция была направлена против британского владычества в Эрец Исраель.

В первое же затишье между боями успел закончить краткосрочные курсы командиров. Тогда это называлось "Курс руководителя боя". По окончании курса мне присвоили звание сержанта.

Впрочем, в те времена чины и звания никого не волновали. Я уволился из армии во время первого перемирия с арабами. Руководители страны и армии, подписывая это соглашение, свято верили, что арабы его не нарушат и что страна на пороге долгожданного мира.

Моше Шарет, который был тогда министром иностранных дел, заявил: "Этот акт знаменует собой исторический пере-

ворот событий на Ближнем Востоке. Согласие Египта на перемирие свидетельствует о намерении этой самой большой из арабских стран добиться мирного урегулирования с Израилем. А поскольку Египет занимает ведущее положение в арабском мире, то нет сомнения, что его примеру последуют и другие страны".

В подобном же духе предсказывал развитие событий и Бен-Гурион.

Арабы, как известно, не посчитались с оптимизмом наших лидеров: пророчества о мире не сбылись. Началась эпоха "просачивания" арабских террористов в Израиль, стоившая нам немалых жертв. Но, когда было принято решение об "операциях возмездия", выяснилось, что армия не обладает настоящими умелыми кадрами, способными воевать с арабским террором.

В то время солдаты выполняли многие функции, и я не преуменьшаю их важности: в бараках новых иммигрантов они преподавали иврит, армия тушила пожары, спасала от наводнения, но воевать не умела.

Я говорю о периоде 1949-1953 годов. По сути, это и послужило причиной создания "Подразделения 101" — особого подразделения по борьбе с террором.

Я думаю, что в то время у наших командиров сложилась особая психология. Когда я обращался к ним с вопросами: "Как объяснить поражения, которые терпят наши силы в последних операциях?", — то неизменно получал ответ: "Шломо, нынешние арабы это не те, которых ты знал в 1948 году. Они изменились".

С образованием "Подразделения 101" стало очевидно, что изменились не арабы, а наши нормы и стандарты. Мы многое утратили. Проблема состояла в том, чтобы выковать новые кадры боевых командиров, которые знали бы, что надо делать на поле боя в самых трудных ситуациях.

В 1953 году, помимо создания "Подразделения 101" произошло еще одно событие. Маклеф, бывший в то время начальником Генштаба, был смещен Моше Данном. Даян поначалу резко сопротивлялся созданию нового "Подразде-

ления". По существу оно сформировано против его воли, а он был в то время начальником оперативного отдела Генштаба.

Арик Шарон в чине майора стал командиром "Подразделения 101", а я его заместителем (в чине капитана). Было нас командиров всего 4-5 человек, и мы начали собирать бойцов. Критерии просты: умение, талант и желание сражаться с террористами. Я, как было сказано, из армии уволился, но одним из первых вернулся, чтобы служить в "Подразделении 101".

С Шароном я познакомился за три года до того, как стал его замом. Тогда мы вместе с ним организовали знаменитый "патруль Голани" — отборное подразделение, укомплектованное отличными солдатами.

Когда Арик получил приказ организовать "операцию возмездия" в Наби Самуэль (под Иерусалимом), то первым, кого он пригласил — был я.

Помню, как прибыл за мной армейский автомобиль с запиской от Арика, где сказано было, что без моего участия он не гарантирует успеха операции. А я — как бы это картинно не выглядело — пахал в то время землю. Так вот оставил я плуг в борозде, посреди пашни, завел коней в стойло и прихватил с собой еще трех товарищей, сослуживцев из окрестных поселений.

Так мы прибыли в Иерусалим и провели операцию, и надо сказать, весьма успешно.

Даян, как я уже сказал, был против создания "Подразделения 101". Но, когда пришли первые успехи, именно Даян стал его ярким поборником. У него было особое чутье, он умел вовремя поставить на "верную лошадку". И здесь он не промахнулся. Вскоре Даян стал появляться перед корреспондентами, рассказывал о подробностях той или иной удачной операции.

Но бывали и провалы. Так, неудачей закончилась одна из операций в районе Калькилии. Мы понесли потери, и тогда Даян, впервые представив на прессконференции Арика Шарона, объявил: "Майор Шарон объяснит вам причины неудачи".

Вообще, Даян был редким счастливым человеком, родившимся, как говорится, с серебряной ложкой во рту. Даже из своих ошибок он умел извлекать личный успех. Он выступал в роли "отца" лишь в том случае, если были успехи. Неудачи оставались "круглыми сиротами". Провалы войны Судного дня Даян тоже не относил на свой счет, хотя и был министром обороны. Впрочем, не о Даяне речь...

Довольно скоро я снова уволился из армии. Поводом была предстоящая операция коленного сустава, где еще с давних времен засел осколок, причинявший мне немало беспокойства. Однако на самом деле я уволился из-за разногласий с Ариком Шароном. Сложившуюся ситуацию и перспективы мы видели по-разному.

Я считал, что нам выдан карт-бланш, благодаря тем успехам, которые принесли первые операции. И эту возможность нельзя упустить. Мы могли мобилизовать в наши ряды лучших бойцов и командиров, получить (и получали!) лучшее оружие и снаряжение. Редчайший случай — не только в ЦАХАЛ'е, но и в армейской структуре всего мира — командиру выпадает шанс создать подразделение по собственному усмотрению.

Уникальная возможность, по-моему мнению, выпала и нам: создать самое лучшее в мире подразделение командос — десантников.

Моя главная мысль сводилась к тому, что у арабов незыблемое преимущество перед нами и в материальных ресурсах и в людских резервах. Даже если будет небывалая алия, даже если Синай снова станет частью нашей территории, — все равно у арабов будет во всем решающий перевес. Сегодня арабов около 170-180 миллионов, а нас, израильтян, в лучшем случае, немногим более трех миллионов. У арабов богаче земные недра, больше денег, а за деньги, естественно, все можно добыть: и совершенное оружие, и международное влияние.

Итак, во всем у арабов перевес, и лишь один фактор служил в нашу пользу. Если мы выиграем в мобильности и маневренности, если будем действовать внезапно, — сумеем и

выстоять, и победить. Поэтому я считал, что движение и маневренность — вот те факторы, на которые следует сделать упор в ЦАХАЛ'е. А уж отсюда ясно, что нельзя было упустить шанс на создание особых десантных частей, поскольку они — сама подвижность, они — всегда в наступлении, в движении, в атаке. Я считал, что следует иметь особое командование — объединенный штаб, который объединил бы под своим началом специальные подразделения.

Увы, эти мои предложения не были приняты. Причина? Причины лучше всего выяснить у Арика Шарона, я надеюсь, что ему эти причины более ясны.

Арик — человек, которого я высоко ценю и уважаю. Его тактические взгляды, его мужество, отвага достойны всяческих похвал. Он обладает особым чутьем, "чувством местности", а это — редкое качество. Но вот что касается стратегического мышления (я даже не говорю о стратегии государственной, а ограничиваюсь стратегией военной) — тут он никогда не сумел подняться над обычным, чисто тактическим пониманием ситуации. И моих предложений Арик не принял. Он весь был погружен в планирование "операций возмездия", он начинал пожинать первые успехи — мы почти не знали провалов.

Итак, у Арика в то время был один подход: делай то, что приносит успех, делай это как можно больше. Он не стремился к чему-то новому. Да и в дальнейшем, на протяжении всей своей карьеры он так и не сумел подняться выше тактических расчетов, всегда оставался на уровне тактики, но никак не стратегии. Поэтому я и сегодня считаю (как и тогда был уверен), что мы упустили историческую возможность.

Опыт показал, что эта возможность не повторилась, и на мой взгляд, последствия этих (утраченных) возможностей еще долго будут преследовать нас. Но вот что характерно: не только Шарон, но и другие, кто знал о моих предложениях, не отнеслись к ним вдумчиво. Все были заняты сиюминутными, острыми проблемами, никто не думал о будущем.

С болью в сердце (и физическими болями в коленном суставе) я ушел из армии. Пошел в университет учиться. Кстати,

и Арик тяжело переживал, что я не поддерживаю его идеи. Все это и вызывало напряженность в наших отношениях.

А в армию я вернулся в 1967 году, принимал участие в Шестидневной войне. Я был резервистом в дивизии генерала Талья (Талика). Талик вернул меня в армию, в кадровую службу, я был командиром Патруля 35 ("патруль" — "саерет" на иврите — в израильской армии отборное подразделение, укомплектованное лучшими бойцами, прошедшими специальную тренировку; по сути — это ударные силы, на которые возложена особая миссия в атаке, в прорыве, в наступлении). В Шестидневной войне я провел Патруль-35 по направлению Эль-Ариш — Кантара. Кстати, именно на этом направлении и именно мне выпала возможность отбить единственную организованную контратаку египетских бронетанковых сил.

В этом контрнаступлении египтяне применили русские безоткатные орудия. После войны генерал Таль обратился ко мне с предложением организовать бронетранспортерные десантные подразделения. Я вернулся в кадры армии, прошел переподготовку в бронетанковых войсках, и был назначен командиром Патруля 7-й бронетанковой бригады. И уже тут-то я и начал проводить в жизнь, — правда, в ограниченных масштабах — все, о чем говорил выше.

Но и здесь не все пошло гладко. Талик ушел с поста командующего бронетанковыми силами. Его место занял генерал Брен, и дело застопорилось.

Почему? Поверьте, что причины и до сих пор мне неясны. Я думаю, что главная причина — ограниченность мышления, загнивание мысли... Не было простора, полета, был только сегодняшней день, никто не задумывался о дне завтрашнем. И все-таки состоялась операция, приковавшая к себе всеобщее внимание. Я говорю о десантной операции, которую провел Патруль 7-й бригады в 1969 году, высадившись в египетском тылу на берегу Суэцкого залива. В этой операции были атакованы базы египтян, которые вели огонь по нашим самолетам (базы в Рас-абу-Дарадж и Рас-Заоф-рана). Я был заместителем командира атакующих сил. Командование мне до-

верить побоялись — считали, что я, высадившись в Египте, немедленно атакую... Каир!

Пытался ли я выступить в печати со своими теоретическими предпосылками? Увы, в те времена все было иначе. Это сегодня в газетах обсуждаются даже самые суперсекретные проблемы. А тогда я попытался изложить свои взгляды кратко, буквально на двух страницах, в виде частного письма к своему командиру Ариэлю Шарону. Помню, был спор, Арик меня не понял, я послал ему свои соображения письменно и тем самым отрезал себе путь выступить с ними публично.

А что же Арик? Он просто посмеялся над моим письмом, хотя сегодня это и выглядит поразительно. На мой взгляд, стратегическое мышление — это качество, с которым командир рождается или умеет его в себе выработать. Этому нельзя научить. Оно либо есть в тебе, либо его нет.

Сегодня я с неприятным чувством думаю, что ему вдруг показалось, что я просто пытался его обидеть, быть может, посягнуть на его прерогативы командира-единоначальника. Однако я не собирался посягать ни на его авторитет, ни на его отменные командирские качества. И сегодня я один из тех, кто высоко ценит Ариэля Шарона. Но ведь речь идет о деле. И только на этой основе я готов обсуждать свое отношение к нему. Мои конфликты с Ариком и с другими не носят личного характера. Споры шли о смысле, о сути, о содержании.

Когда меня спрашивают о войне в Ливане, то я не считаю, что в этой войне мы действовали с умом. Скорее, наоборот. Однако если твой народ воюет, то ты не можешь не встать и не помочь, не поддержать! Надо прежде всего победить врага. А "домашние счета" будет время свести после победы. Поэтому-то и поддержка моя Арика Шарона во всех его конфликтах основывалась именно на этих соображениях.

Повторю, однако: ливанская кампания блеском ума не отличалась. Но об этом — потом...

А пока вернемся к 1969 году, ко времени, когда проводилась бронетанковая десантная операция. Талик ушел из бронетанковых войск, и я снова почувствовал, что лишился воз-

возможности реализовать задуманное. Почему ушел Талик? Это — особая статья. Это кардинальный спор о том, как оборонять Синайский полуостров. Талик считал, что основной стратегический принцип — это мобильность, а Хаим Бар-Лев, тогдашний начальник Генштаба, создал "линию Бар-Лева". Он отстаивал собственную военную доктрину. Говорю это вроде и с улыбкой, но считаю "доктрину линии Бар-Лева" трагедией. "Линия Бар-Лева" была коридором к провалу. Это несчастье, постигшее нас в войну Судного дня. Талик как командующий бронетанковыми силами ЦАХАЛа был решительно против. В результате споров и конфликтов он ушел из бронетанковых войск и возглавил проект танка "Меркава".

Излишне пояснять, что благодаря настойчивости Талика у ЦАХАЛа есть сейчас самый лучший в мире танк. Впоследствии Талик был заместителем Дадо (Давида Элазара — начальника Генштаба в период войны Судного дня).

Итак, наши потери в результате артиллерийских обстрелов, которые вели египтяне, были катастрофическими. Я считал, что лишь операции десантников на египетской территории смогут исправить положение. Но с уходом Талика я лишился единомышленника. И все-таки решил обратиться к Брену, новому командующему бронетанковыми силами, и предложил ему провести десантную операцию.

Я сказал Брену, что готов лично выполнить то, что предлагаю, и даже не прошу дополнительных средств. Я согласен высадиться с теми силами, которые находятся под моим командованием, и заявил, что с позором уйду из армии, если планируемая операция не принесет успеха.

Никогда не забуду эту длинную неприятную беседу, которая состоялась между нами. Брен сказал: "Шломо, пришло время, чтобы ты наконец понял, что лучшие дни "Подразделения 101" отошли в прошлое". Я ответил: "Верно, "Подразделение 101" — это уже история. Но я же вношу конкретное предложение, и обсуждать его следует по сути. Если это хорошее предложение, следует его принять. Если же задуманное никуда не годно, то и отбросить его следует лишь по деловым соображениям". Брен улыбнулся: "Скажи, Шломо, ты счита-

ешь, что кто-нибудь из нормальных людей позволит тебе перебрасывать танки на ту сторону канала?" И он покрутил пальцем вокруг виска, как бы намекая, что я не совсем нормален. Именно так!

И все же Брену пришлось согласиться на десантную операцию

Между прочим, во время атаки наши танки прошли по египетским укрепленным позициям и под их гусеницами погибли несколько десятков египетских солдат. Впоследствии Насер послал комиссию для расследования результатов операции. И когда он увидел снимки поля боя, именно тогда случился у него инфаркт. Об этом пишет известный египетский журналист Хаснин Хейкал. Так что я, можно сказать, довел Насера до инфаркта. До первого инфаркта. Потому что — от второго Насер умер.

И еще одна история. На место боя прибыл командующий египетскими войсками в районе Красного моря в сопровождении советского полковника — военного советника египтян. Они приехали в роскошном голубом "Шевроле", разумеется, не рассчитывали увидеть здесь израильский бронетанковый десант. А мы, в пылу сражения, наехали танком на этот прекрасный голубой автомобиль. А жаль, мне бы очень интересно было побеседовать с русским полковником — с удовольствием прихватил бы его с собой.

Но после этой удачной операции продолжения не последовало. Правда, была еще одна попытка, едва не закончившаяся ужасным провалом. Наши силы чудом спаслись от гибели. Кстати, об этом никогда и нигде не было сказано ни слова. А когда я ушел со своего поста, то "десантный проект" совсем заглох.

После войны Судного дня Талик занялся разработкой проекта нового танка, я остался "черной овечкой" в бронетанковых войсках в чине майора. В командных кругах поддержки у меня не было. Между тем нашлось немало крупных офицеров, у которых со мной были разные счета. И когда Мота Гур стал начальником Генштаба, то он просто-напросто приказал начальнику отдела кадров в Генштабе не продле-

вать со мной контракта на дополнительный срок. (В ЦАХАЛе офицеры служат по контракту, срок которого ограничен. В конце срока офицер вправе продлить контракт, либо выйти в запас. У армии также есть право отказаться от продления контракта.)

Я понимаю Гура. Ведь я был личностью, так сказать, одиночной.

В оценке моих военных способностей есть разные точки зрения. Есть такие, кто скажет, что Шломо Баум — гений. Но есть и такие, кто считает, что я ничего особенного собой не представляю. И что же? Оба утверждения справедливы. Лишь те, кто ничего не говорит и ничего не делает — только такие не вызывают споров. Это — универсальное явление.

Теперь о Ливанской войне. О, это особая тема! Но в двух словах скажу, что снова мы сталкиваемся с узкой мировоззренческой концепцией. Снова тактический подход к вопросам, когда надо хотя бы задуматься о стратегии. Но увы, наши военные руководители (а среди них много выходцев из "Подразделения 101") так и не обзавелись стратегическим мышлением, а остались командирами, которые умело решают локальные задачи.

Арик Шарон в качестве министра обороны и Рафаэль Эйтан на посту начальника Генштаба из "тактических пеленок" так и не выбрались.

Что надо было делать? Высадить десант в Бейрутском порту! И на этот раз не отдельных десантников, а массивные армейские подразделения. Прямо на командные пункты террористов, бить, что называется, по голове. И немедленно бросить бронетанковые силы на дорогу Бейрут-Дамаск, вплоть до сирийской границы, заперев сирийцев на их собственной территории. А уже потом двинуть наши части от израильской границы в Южный Ливан. Но наши военачальники действовали в обратном порядке.

Разумеется, я понимаю, что высадить десант в Бейрутском порту — это прежде всего решение политическое, а не военное. Но все-таки попытаюсь объяснить связь между политикой и стратегией.

Стратег — а министр обороны обязан заниматься в первую голову стратегическими проблемами — это тот, кто несет ответственность за национальную безопасность, а национальная безопасность — это стратегическая проблема, ее тактическими разработками не решишь.

Начальник Генштаба также главным образом обязан заниматься стратегией, конечно же, он должен выработать и обеспечить тактические средства для достижения стратегических задач. И если правительство, которому подчинена армия, не готово разрешить тебе высадку в порту Бейрута, то просто не следует начинать войны. Войну начинают, чтобы победить!

Я не читал стенограмм заседаний правительства и думаю, что вряд ли наши министры были психологически способны принять тот план, о котором я говорил. Но, повторяю, если у армии нет возможности вести войну наилучшим образом, то армейское командование обязано выступить против войны и ждать той минуты, пока можно начать войну, которая решит проблему. И вести ее так, как я уже говорил: удар по штабам, удар по сирийцам, десант в Бейруте. Есть поговорка: "Бей по голове, чтобы враг не возвратился домой хромая".

Считаю ли я эту войну нашим провалом ?

Даже если я не употреблю слово "провал", то полагаю, что общий баланс войны отрицательный. Вне всякого сомнения! Но нет и никакого противоречия в том, что люди, подобные мне — поддерживали эту войну.

Почему? Потому что народ воюет. У нас нет другого правительства, и наше правительство решило начать войну, а народ избрал правительство демократическим путем. Министр обороны и наш начальник Генштаба были такими, какими они были, других не избрали, не назначили. Со всеми их достоинствами и недостатками. И если народ воюет — прежде всего подставь плечо, поддержи!

Но прошло уже больше года, сирийцев из Ливана мы не выбросили. Это — факт. Террористов тоже не выбросили. Но все-таки — и это можно считать достижением — мы разрушили их военно-территориальную автономию. Ведь в Ливане было



почти что государство террористов. Вне всякого сомнения, мы нанесли сокрушительный удар по их международному престижу. Но если это так, то почему же я считаю, что результат войны отрицательный?

Если отнестись к войне рационально — а я именно так и отношусь, — то баланс тут исчисляется так же, как в бизнесе: сколько заплатил за приобретенное в ходе войны. То, что может считаться достижением Ливанской войны, не стоит того, что мы за это заплатили. И наши платежи еще не закончены. А пока что цена высокая: и потери людские (этому вообще нет цены!), и деморализация в армии, и снижение нашей популярности в глазах мирового общественного мнения, и наша вовлеченность в затянувшуюся войну, и т.д.

Правительство без особого успеха пытается объяснить израильским гражданам, что мы делаем в Ливане, а командиры — с тем же минимальным успехом — могут объяснить солдатам, почему они находятся вне Израиля, чем они конкретно занимаются, скажем, в горах Шуф, разнимая друзей и христиан. Вопрос не в том, насколько все это известно, а в том, понимает ли израильский солдат ситуацию.

Так что, если я буду очень осторожен в оценках и не скажу, что война — это полный провал (а я, кстати, и не считаю ее провалом), то, вне всякого сомнения, итог войны отрицательный. И это говорит тот, кто считает, что проблему ООП надо решать кардинально — рубить, как говорится, под корень, тот, кто был за войну в Ливане, кто на собственном опыте знает, что за войну платят высокую цену. Бесплатных войн, увы, не бывает.

Опыт наших войн начиная с 1948 года учит, что война, которая длится больше недели, — оборачивается поражением. Длительную войну мы проигрываем не из-за тех или иных тактических неудач, а прежде всего, потому что у арабов всегда было, есть и будет больше средств, сил и резервов, чем у нас.

А кроме того, есть и еще одна причина — это наше специфическое положение в противостоянии сверхдержав.

Сверхдержава при всей своей мощи — система инерционная, она, как говорится, медленно "набирает обороты". И

если мы действуем быстро, достигаем своей цели в три-четыре дня, то и достижения могут при нас остаться, никто не отберет. В этом нет, правда, полной уверенности, но все-таки есть много шансов. Планируя нечто длительное, мы сразу даем возможность сверхдержавам вмешаться, "схватить нас за руки" и в конце-концов продиктовать нам свою волю. Ведь по сути — наша нынешняя ситуация в Ливане соответствует замечательной поговорке на идиш: "И протухшей рыбы наелись, и тумачков нахватались, и из города нас выбросили".

О палестинской проблеме я сегодня говорить не хочу, вариантов решений предлагать не буду. Это — особая тема. А закончить хотел бы несколькими фразами, обращенными к евреям, прибывшим из России, потому что я — "русский человек" (эти слова Шломо произнес по-русски с непередаваемым акцентом!) Я русских евреев считаю своими, и уважение мое к ним самое глубокое. Русская алия — это один из самых значительных потоков новопривывших. Надеюсь, что никого при этом не обидел, я люблю весь еврейский народ, со всеми его общинами и этническими группами. Но к русским евреям отношусь по-особому.

Борьба закалила русских евреев, сделала их сильными. Я уважаю сильных евреев. Мы должны знать: тяжкие испытания выпали на долю нашего государства, но самые трудные испытания еще впереди.

*Вел беседу Виктор Радуцкий*

---

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

**ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.**

**КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.**

**ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.**

**КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.**

*Цена книги - 15 долларов.*

*Заказы и чеки высылать по адресу: Time and We  
475 Fifth ave, room 511 - A  
New York, New York, 10017*

---

Абрам КУНИК

## СОРОК МИНУТ В НЬЮ-ЙОРКСКОМ МЕТРО

В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Знаете ли вы Нью-Йорк? О, вы не знаете Нью-Йорка. Вы живете в Париже. Или Иерусалиме. Или в Москве. А если в Нью-Йорке — то вы ездите на своей машине. А если на метро — то только в час пик.

Нет, вы не знаете Нью-Йорка, как знаю его я, тридцать из тридцати дней в месяц проводящий в нью-йоркском метро около двух часов в день.

Полночь. В вагонах почти пусто. Если вы не обременены предрассудками хорошего воспитания, можно даже лежать на скамейке. Я — полуобременен. Поэтому я полулежу, опершись о стенку вагона и вытянув ноги вдоль двухместного сиденья. Когда я уселся таким образом впервые, то не без опаски посмотрел на окружающих. Какова будет их реакция? Реакции не было.

Вошел полицейский, моя нога инстинктивно потянулась к низу. "Лежать!" — мысленно приказал я ей. И замер. Замер в ожидании окрика. Это условный рефлекс, выработанный отнюдь не Павловым.

Нет, он даже не взглянул на меня — ни этот, ни его многочисленные коллеги, поздними вечерами прочесывающие вагоны поездов.

Не ждать окрика, угрозы, антисемитского выпада... К этому надо привыкнуть.

Прожив в Америке около двух лет, я привык к обилию еды и тряпок, к сверхоткровенности в вопросах секса, к чужим поначалу черным и желтым лицам. Но до сих пор я не могу привыкнуть к тому, что евреи не боятся быть евреями, к тому, что они не только не скрывают своего еврейства, но легко его обнаруживают — костюмом, пейсами, чтением в публичных местах книг и газет на иврите.

Думаю, что по-настоящему свободен не тот, кто умеет преодолевать страх, а тот, кто его не знает.

Однако у многих моих попутчиков — тех, что едут в этот поздний час — чувство "внутренней свободы", пожалуй, бьет через край. Они курят, мусорят, включают на полную громкость магнитофоны. Возможно, это про них плакат с изображением брошенной банки из-под пива и надписью: "Буба Смит был здесь". Судя по грязи в нью-йоркском метро, — Буба часто бывает тут.

Буба — это человек, чей кошелек не слишком туго набит деньгами, а голова не слишком забита мыслями. Он един в трех расах — Буба может быть белым, черным и желтым. Его поведение, вкусы и пристрастия от этого не зависят. Как правило, Буба не носит джинсов известных фирм и рубашек из дорогих магазинов. И, разумеется, голову его не покрывает черная хасидская шляпа. Среди хасидов Бубы не водятся. К собственному костюму, Буба безразличен, и лишь иногда повязывает шею ярким красным платком или молодцевато сбивает на затылок кепи. Буба — это сливки низшего общества. Другие члены этого общества — профессиональные нищие.

"Благода-рю. Благода-рю", — слышу я женский голос, а через несколько секунд вижу вытянутые в длинную трубочку, четко артикулирующие губы. Это — безногая, лет тридцати. Ее возят в коляске по вагонам поездов. Я встречаю ее почти всякий раз, когда еду в промежутке между половиной

седьмого и половиной одиннадцатого. Рядом с ней магнитофон. Чтобы был слышен призывный звон мелочи в стаканчике, который она протягивает пассажирам, музыка приглушена. Но ее упругие негритянские косички с цветными шариками на концах раскачиваются в такт блюза.

А вот и конкурирующая фирма. Тоже безногий. И тоже в коляске. Его черное улыбающееся лицо еще чернее от дыры беззубого рта.

Мне неизвестно, как поделили между собой эти двое сферы влияния. Но обычно я встречаю только кого-то одного из них. Сегодня же вышла накладка. Они едут друг за другом с промежутком в десять минут. И, конечно, поток мелочи во второй стаканчик сильно уменьшается.

Впрочем, я думаю, оба калеки неплохо зарабатывают. Вернее, неплохо зарабатывают те, кто их возит. Возчики меняются. У каждого безногого их не меньше трех. Все молодые. Все здоровые.

Невольно я начал считать. Один, два, три... десять, двенадцать... четырнадцать. Это много. Так будет не во всех вагонах. Ну, предположим, в среднем выходит по 15 центов с носа. Помножим на десять вагонов. Проход по вагону — четыре-пять минут. Ожидание следующего поезда — пятнадцать. Итого — минимум десятка в час.

Признаться, подсчет этот меня несколько смутил. И на следующий день рука моя дрогнула. Но уже через минуту мне стало стыдно. "Слава Богу, я не калека", — подумал я и бросил монетку.

Звяк... звяк... Еще раз. Еще.

Русскому человеку хорошо известно, что щедрее его нет на свете. Я уж не говорю о евреях, которым это понятие и вовсе недоступно. Но жаден и француз, и немец. Рассчетлив англичанин, а американец щедр только на улыбки...

Звяк... звяк... Еще. Еще. Нет, — не только на улыбки.

В общем, они люди как люди. Как в России. Как везде. Калеке, слепому (особенно, если он без черных очков и лицо его изрезано шрамами, как у того, что "работает" на моей линии метро) они юхотно подадут милостыню. Сколько бы я ни счи-

тал — число подающих неизменно составляет около 30 процентов. Не меньше.

Но это, конечно, лишь в тех случаях, когда несчастье явно, когда оно зримо. Говорят же — лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать...

Их много — нищих, "обслуживающих" мою линию метро. Среди них полусумасшедшая с круглыми еврейскими глазами из-под очков. Она двигается мелкими шажками, как двигаются заводные игрушки. Шаг. Остановка. Просящая рука — к пассажиру. Еще шаг. Еще остановка. Рука — к пассажиру. И все это молча, независимо от того, бросили вы что-нибудь в ее стаканчик или нет.

Среди нищих и глухонемые, раздающие листочки со своей азбукой, а потом собирающие их обратно. Как ни странно, публика плохо понимает, чего от нее хотят — пожимает плечами, недоуменно улыбается, и лишь немногие, отдавая листочек, добавляют к нему мелочь. Я знаю, когда это происходит, даже если занят чтением. "И-и-а! И-и-а!" — раздается на весь вагон. Это — благодарственная "речь" глухонемого.

Произносить речи в поездах нью-йоркского метро, где стоит невообразимый грохот, — плохая затея. Однако я выслушал их здесь не меньше сотни. Речи мусульман, собирающих деньги на детское образование и еще на что-то, чего я не знаю. Речи безумных, говорящих о конце мира. Речи стихийных политических агитаторов, в основном пацифистов. Одним словом, если у вас хорошие легкие и сильный голос, можете рискнуть.

У этого человека с легкими явно все в порядке, а голос его, хотя и хриплый, но легко перекрывает шум подземки. Став посередине и ни на кого, собственно, не глядя, он начинает свой монолог — маленький актер, играющий незамысловатую пьесу о бедствиях, постигших его в жизни. Потом он шутовски кланяется, благодарит за внимание и обходит зрителей, срывая свой десятицентовый аплодисмент.

На кого он похож? Каждый раз я не могу избавиться от чувства, что знаю его, встречал где-то раньше, еще до Америки.

Щуплозадый, грудь нараспашку, волосы острижены в кружок, черная борода — лопатой. И глаза... умные, разбойные, хитрые. Где, где я его видел? И этот голос... Почему мне так дико, что он говорит по-английски? Почему его речь о старой матери и младших братьях мне кажется такой искусственной, точно плохой перевод с русского?

Ну да, конечно, он должен говорить по-русски, этот человек с голосом Высоцкого и лицом Пугачева.

Я едва ли не единственный, кто дает ему монетку. Я-то ведь помню про заячий тулупчик, подаренный Пугачеву Гриневым. Мой сосед-американец неодобрительно качает головой и, наклонившись ко мне, шепчет, что это — бродяга и что он часто видит его в метро, промышляющим милостыней. "Ах, не читали вы, мистер Пушкина", — говорю я ему. И мистер, не поняв меня, обиженно отворачивается.

Можно ли по нищим судить о стране, о народе, об уровне свободы и демократии? Безусловно.

В Риме, например, нищие шутят, говорят женщинам комплименты, а однажды один из них галантно поцеловал моей спутнице руку.

В Америке ничего подобного вы никогда не встретите. Просить милостыню — это тоже бизнес. Какие уж тут шутки.

И в России нищие другие, не похожие ни на итальянских, ни на американских.

По роду работы я несколько лет ездил по одному и тому же маршруту — Ленинград-Комарово и знал многих нищих не только в лицо, но и по имени. Вот Венечка — маленький дегенеративный уродец. Он шел по вагону, протягивая шапку. Русские женщины жалели его, ласково называя "еврейчиком".

Кузьмич — всегда рассказывавший про войну, хотя уже с окончания войны тогда минуло двадцать пять лет. Калека на костылях, в шинели. Слепая с двумя сиротами, которым она, видно, не давала учиться, заставляя просить милостыню. Обритые, только что вышедшие из тюрьмы зэки.

Нет, здесь, в Америке, нищие выглядят не так. Да и сами эти слова: "нищий", "калека", "пьяница", "убогий" — так слившиеся с образом России, совсем не соответствуют образу

Америки. Лексика эта не годится для описания американской жизни. Она может дать лишь приблизительную картину, как плохой перевод, как подстрочник.

Не "нищий" — а малоимущий, не "калека" — а инвалид, не "пьяница" — а наркоман. Это, может быть, тоже не точно, но ближе к реальности. Жалостливые русские слова не применить к людям, в чьих глазах нет ни забитости, ни испуга, а есть, как это ни нелепо прозвучит, уверенность в своем завтрашнем дне.

Но главное — нет в американских нищих страха. Напротив, есть даже определенное чувство собственного достоинства. Этого русские нищие не знают. Но только ли нищие?

## ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

Любите ли вы театр? Любите ли вы театр, как люблю его я? Если да, тогда садитесь в поезд нью-йоркского метро.

"Лиловый" негр, почти такой же, как в песенке Вертинского, сыграет вам нечто непрехотливое на инструменте, напоминающем таганок. Никогда раньше я не видел этого инструмента и не знаю, как он называется. "Таганок" этот висит у негра на ремне, а сам он бьет по его внутренней стороне палочками. Извлекаемый звук напоминает ксилофон. Я полагаю, маэстро привлекает симпатии не столько виртуозностью исполнения, сколько толстогубой и белозубой улыбкой. Публика улыбается ему в ответ и охотно платит за маленький концерт.

Не стоит думать, что законы уличного театрального мира отличны от законов гражданского театра. И здесь, так же как в настоящем театре, каждый актер имеет свою сцену и своего зрителя.

...Я знал его давно. Вечером, часов в восемь и позднее, он собирает большую толпу на углу Бродвея и Сорок второй улицы. У него красивая голова с черными испанскими кудрями до плеч. Когда, затесавшись в толпу, я увидел его впервые, то не задумался о его несчастье — так непохож он был на

несчастливого, так непринужденно и свободно держал себя. А несчастье испанца велико: ростом он с трехлетнего малыша. Шея вообще отсутствует. Тоненькие ножки его не ходят, и он передвигается с помощью доски на колесиках или... на руках.

Вот он идет по кругу, кидая в толпу веселые реплики. Шутит. Смеется. И толпа откликается. Она ободряет его криками. Она хлопает в ладоши. Она бросает ему деньги. Она любит его.

Был поздний час, когда я встретил испанца в метро. В поездах в это время мало народу. Встав на руки, он пошел по проходу. Справа и слева ровными рядами сидели чужие люди — чужие зрители. Та атмосфера безделья и поисков развлечения, что царит поздним вечером на Сорок второй, тут отсутствовала. И все было не так: жалкий калека, фиглярничая, двигался по вагону, и мелочь, бросаемая ему, была милостыней, а не платой за представление. Не было восхищения. Не было аплодисментов. Публика выполняла лишь некий долг доброты, тут же спеша забыть о несчастье, свидетелем которого стала.

Однажды я видел в метро настоящий кукольный спектакль. Его давал продавец игрушек. Был он в круглой мягкой шляпе, рыжем парике и клетчатых штанах. Большой красный накладной нос выделялся на его набеленном лице. Он вышел на середину, достал из сумки надувных зверей — змею, слона и верблюда — расставил их на чемоданчике-сцене и сыграл с ними пьесу, в которой, как и полагается, зло, то есть змея, было растоптано слонем и оплевано верблюдом. Затем он обратился к присутствующим с речью и предложил господам поспешить купить игрушки, ведь дома их ждут дети.

Судя по результатам, был он, очевидно, скорее актер, чем коммивояжер. Господа не покупали игрушки, хотя представлением остались довольны. Я думаю, что собирая он деньги как актер-кукольник, он бы не ушел с пустыми карманами.

Не уходит же с пустыми карманами здешний Кио, минут пятнадцать развлекающий пассажиров своим искусством. Более того, ни одному нищему не перепадает столько денег, сколько ему.

Кио — молодой человек с чуть насмешливым лицом, прекрасной дикцией и отличным знанием английского языка. Нет сомнения, что это язык его предков и он чистопородный янки. Он входит в вагон и молча стоит посередине, выжидая, когда пассажиры обратят на него внимание. И они действительно начинают смотреть на него. Тогда он выбирает из числа сидящих партнера и предлагает ему спрятать два мячика. Обычно пассажиры послушно берут эти два оранжевых шарика и прячут в карманы. А через секунду фокусник извлекает эти мячики из карманов их соседей. Или вместо двух мячиков достает у искренне удивленного пассажира — четыре. Затем он предлагает завязать узлом веревку, а после нескольких магических слов, сказанных над узлом, и каких-то пассов она как бы сама собой развязывается.

Вероятно, все это простейшие трюки. Но для непосвященных — а их большинство — они маленькие чудеса.

Я тоже непосвященный, и я очень хочу, чтобы он выбрал меня в партнеры. "Дай, дай мне эти мячики, попроси меня завязать веревку — уж я-то умею завязывать морские узлы", — мысленно молю я его, естественно, по-русски. Нет, "великий и могучий" на этот раз бессилен. Он так ни разу и не подошел ко мне. Наверное, чутьем актера он улавливает, что я не американец и могу, не поняв его, испортить номер.

Работает он легко и весело. А закончив программу, так же весело и непринужденно обходит пассажиров, протягивая бумажный стаканчик. И стаканчик наполняется молниеносно, и не только мелочью, но и долларами. Веселье все-таки предпочтительнее несчастья. И платят за него щедрее.

Но как-то я видел своего Кио сидящим на скамейке в ожидании поезда. Счастливым он не выглядел. Лицо его, такое оживленное во время работы, было теперь серым и тусклым. Это было лицо человека, тяжело зарабатывающего свой хлеб.

Мы вместе вошли в вагон. Мгновенно он преобразился. Стал беззаботным и веселым фокусником. Но с тех пор я не могу забыть его лица, увиденного на станции метро.

Боюсь, правда, что моя впечатлительность не американского толка. Воспитанный на русской литературе, я всегда

помню о "невидимых миру слезах". А в Америке куда большим спросом пользуется миф о Золушке. Мне, однако, кажется, что американский "маленький человек" должен любить больше сказку о Мальчике-с-пальчике. Мальчик-с-пальчик, как известно, добился успеха своим собственным трудом и умом. Почти без волшебства...

Я вспоминаю Россию. Могу ли я рассказать что-то похожее о ней? Нет, пожалуй, не могу. В моем воображении возникает фигура шарманщика. Но это явно литературная реминисценция. Я и шарманки-то настоящей никогда не видал. Ну а в жизни? В жизни — нет. Не помню.

В России вообще нет уличных музыкантов, нет театра улицы. Это примета западных городов. Только в Европе вы чаще встретите скрипача или гитариста, а в Америке — трубача и ударника.

Есть, правда, в России люди, чьи танцы и песни можно видеть и слышать на улицах. Могут они появиться и в электричке. Они вваливаются в вагон шумно — крича, смеясь и ругаясь одновременно. Лица их грязны, а одежда и того грязнее. Они бесстыдно просят милостыню, предлагают погадать — сказать, где ваше счастье. Они суют вам своих детей и требуют, чтобы вы что-нибудь им подарили. А над проходом в это время уже взвизгивает бубен, и тоненькая девочка, трясая юбками и хрупкими плечиками, отплясывает цыганочку.

Их веселье — бескорыстно. Это веселье жизни. Они умны, сметливы, наблюдательны и потому легко обманывают окружающих, иногда даже не ради наживы, а ради самого искусства обмана. А окружающие, оказавшись глупее, простить им этого не могут.

Цыган в России не любят. Сколько русская литература ни старалась, сколько прекрасных цыганок ни прокочевало по страницам русской литературы — от Земфиры до Маши в "Живом трупе" — а цыгане — изгой общества.

Здесь, в Америке, сравнить цыган можно только с неграми, чье веселье — природно, чьи спиричуэлс и блюзы хватают за душу не хуже цыганских романсов и чья радость жизни — черта характера и потому не нуждается в обосновании. Увы,

выходит, что жизнерадостен и весел в этом мире только изгой. А негры — какие бы усилия не прикладывало государство и американское общество — все же изгой.

Проблема эта сложная, болезненная, пропитанная множеством противоречивых чувств и... совершенно непонимаемая эмигрантами из СССР. Грустно и дико, однако, не это непонимание, а то, что огромное число эмигрантов с легким сердцем восприняло неприязнь к неграм. Люди, сами носившие на себе клеймо изгоев, привыкшие к злобным суждениям об еврейском народе в целом, суждениям, переносимым на каждого конкретного его представителя, казалось бы, должны быть терпимее. Но нет. Они охотно уничтожили бы американских негров. Почему? — "Потому что это животные, потому что они не хотят работать, потому что они грабят, уби..." Стоп. Ну-ка, взгляните на этого белого, что стоит качаясь на своих кривых обезьяньих ногах, — хотели бы вы с ним встретиться в темном переулке?

## РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

Из всех человеческих взаимоотношений, которые можно наблюдать в метро, признаюсь, меня очень занимали любовные.

Мужчины-американцы, на мой взгляд, непривлекательны. Если нет в них итальянской, испанской или какой другой южной крови, то они очень похожи на русских мужчин. Так же, как в России, много лиц умных. Но нет лиц "породистых". Так же, как в России, здесь профессора часто можно принять за шофера (в Италии, например, наоборот — шофер выглядит, как профессор). Есть печать природного ума, и нет печати интеллекта — печати, возникающей вследствие многовековой культуры. В Америке понятно, почему ее нет, — Америка страна молодая. В России — по причинам истребления собственного народа. Словом, белого американца от русского прежде всего можно отличить по запаху. Тот, кто помнит советские коммунальные удобства и муки с доставкой дезодорантов, меня поймет.

Мерелин Монро среди американок встречается редко. Основная же масса американских женщин, на мой вкус, несколько мужеподобна. Если они перестанут пользоваться косметикой и постригут покороче волосы, то разобраться, кто мужчина, а кто — женщина, будет довольно сложно. По обаянию и мере женственности американки явно уступают русским.

Одним словом, янки, по-моему, народ некрасивый. Но даже если это так, то для них это тайна. Как было это тайной для народа, описанного Куприным в рассказе "Синяя звезда", где красавица принцесса страдала от своего мнимого уродства.

К счастью, красивые американки прекрасно сознают свою красоту. И так же, к счастью, дурнушки не сознают своей некрасивости. Я не раз наблюдал, как ведут себя женщины, о чьей внешности можно было только сожалеть. Они затевали разговоры с попутчиками, кокетничали с приятелями, лобызали приятелей более близких. И делали все это раскованно, свободно. Без комплексов.

Короче говоря, Америка благословенная страна для некрасивых женщин. Любая дурнушка может чувствовать себя здесь и привлекательной и желанной.

То же и с возрастом. "Бальзаковский возраст", который, по Бальзаку, равен тридцати годам, давно и повсеместно отодвинулся к сорока. Но здесь, в Америке, похоже, он сдвинулся еще на два десятилетия — к шестидесяти.

Взаимоотношения между полами, скорее, товарищеские. Оба пола существуют как бы на равных. В России можно наблюдать то же самое. Феминизация советского общества оглушительна. Достаточно сказать, что вас учит, лечит и судит в основном женщина. Но тем не менее российские женщины неохотно отдают свои маленькие женские привилегии. В Америке же женщину можно просто обидеть, оказывая ей дамские знаки внимания. Здесь не подают женщинам пальто, не уступают места, не целуют рук. Достигнуть этого в Америке было проще, чем где-либо в Европе. Ведь Америка не знала культа женщины в его европейском выражении.

Огромное количество суфражисток и феминисток научили

американское общество не делать различия между мужчиной и женщиной. И в любовном дуэте часто невозможно выделить лидера.

Я видел влюбленных в России, видел в Италии, и мне очень хотелось знать, как выглядят Ромео и Джульетта в Америке.

Поначалу у меня разбегались глаза. Так много их, как мне казалось, ехало в метро — и утром, и днем, и вечером. Потом я начал приглядываться. Меня удивляло, что лица вполне будничны, а если оживлены, то это оживленность не любовного толка, а делового. Любовный дуэт возникал передо мной как некая сделка, как деловое партнерство. Как бизнес.

Игра, которую они затевали, содержала несколько обязательных элементов. Шлепки — по щекам, по заду, по ляжкам. Щипки — география щипков та же, что и шлепков. Голливудский поцелуй. Рука, обхватывающая партнера и просунутая сзади за пояс брюк. Вжимание живота в живот.

К любви все это не имеет отношения. Это азбука желаний на уровне начальной школы. Изучить ее в Америке нетрудно. К вашим услугам порнофильмы, реклама, витрины специальных магазинов да и просто стенды газетных киосков, пестрящие журнальными обложками с изображением голых и полуголых женщин, как правило, прелестных, или фотографиями одной из тридцати четырех (если верить античным авторам) поз совокупления. Правда, по моим подсчетам, американским натурщицам и натурщикам еще далеко до античного многообразия.

Но, боюсь, что узнать алфавит, это еще не значит научиться читать, тем более понимать прочитанное.

Я думаю, что секс — едва ли не единственная область человеческой жизни, где культуртрегерство, особенно в форме наглядной пропаганды, — вещь губительная. Это та область, где, несмотря на накопленный человечеством опыт, каждый сам должен стать Колумбом. Сам должен "изобрести колесо". И он, безусловно, это сделает, ведомый природой, инстинктом, партнером, наконец. Но только не журнальной обложкой.

Вот они стоят передо мной — эти мальчик и девочка, лет по шестнадцати, ведомые журнальными обложками, порнофильмами и т.п. У девочки прыщики на личике — "бутон д'амур", как называет их моя пожилая приятельница. Бутон есть, а Амура — нет. Не вижу.

И этой девочке, и этому мальчику безразлично, кто перед ними. Можно сменить партнера. Как в бизнесе. Суть в другом. Обоим хорошо известно, что регулярная половая жизнь полезна для здоровья. Как говорила набоковская Лолита, мужчина — лучшее средство от прыщей. Любой мужчина.

Настоящие американские Ромео и Джульетта старше лет на десять. Бывает и больше. Я вспоминаю милую широкоскулую женщину лет пятидесяти и ее лысеющего спутника. Их руки. Отнюдь не скованные, но ласковые. Их взгляды. Вполне откровенные, но счастливые и чуть отрешенные.

Наблюдая за ними, я переглянулся с сидящей напротив женщиной, тоже наблюдавшей за влюбленными. Мы улыбнулись друг другу — как близкие люди, как единомышленники, посвященные в нежную тайну. Отсвет даже чужой любви благодатен.

Еще одна пара — сильно моложе — лет двадцати шести-семи. Их отношения были сложнее и тоньше, чувственный опыт рафинированнее. Но лица светились той же подлинностью чувств. В их случае смена партнера привела бы к катастрофе.

Наблюдать за влюбленными в Америке легче, чем в России. Чувства более открыты, не боятся и не стесняются чужих глаз, попросту не замечая их.

В России другая традиция. Другие характеры. Другой тип мышления. Нравственное начало превалирует над чувственным. Недаром в народе слова "жалеть" и "любить" часто синонимичны.

Полное отсутствие "сексуальной пропаганды" тоже дает себя знать. И не однозначно. В зрелых людях порождает инфантилизм, развивает застенчивость, которая порой уже и не к лицу и не по летам и которая в результате оборачивается ханжеством. В подростках, напротив, сохраняет целомудрие. Подростки не видят оболочку тайны в том возрасте, когда



лишь смутно догадываются о существовании сердцевины. Русские мальчики и девочки сначала созревают эмоционально. И развитие их, на мой взгляд, более естественно: от чувства — к знанию. Вероятно, поэтому возраст русских Ромео и Джульетт так отличен от американских. В России они моложе.

## НЕТ, ОН НЕ ТВИСТЕР, ОН ДРУГОЙ...

Мистер Твистер в метро не ездит. Владелец заводов, газет, пароходов ездит в лимузине. Если же у вас нет заводов, газет, пароходов — то вам придется спуститься в метро и провести там от 30 до 50 минут в обществе 40-60 человек — в зависимости от времени дня

В час пик вагон набит до отказа. Разглядеть всех невозможно. Но и разнообразие тех, кто вокруг, впечатляет. Справа от вас китаец, слева иранец. Перед вами испанец, за вами итальянец. Рядом индус и ирландец. Ваш визави негр, а сами вы, между прочим, еврей.

Вся эта масса людей похожа на вавилонское столпотворение, с той разницей, что они все-таки договариваются. И не только потому, что есть общий язык — английский. Но и потому, что все друг к другу терпимы и лояльны.

Мера этой терпимости и лояльности, на первый взгляд, безгранична. Потом, приглядевшись, я заметил, что все не так просто, как кажется поначалу. Все-таки желтые держатся желтых, черные — черных, а белые — белых. Общение начинается и кончается в рамках общегития. Более тесные межрасовые и межнациональные связи редки, по крайней мере в метро я их почти не видел.

К полудню состав пассажиров заметно чернеет. И так будет часов до трех-четырёх, то есть до того времени, когда нью-йоркцы начнут возвращаться с работы.

В выходные большинство составляют те, кто находится лишь у подножия социальной лестницы и чей кошелек именно поэтому весьма тощ. В основном это китайцы, испанцы и

негры. Срок жизни негров, тоже, вероятно, меньше, чем у белых. Очень редко увидишь седую негритянскую голову в вагоне метро. Белых же стариков и старух великое множество.

"Кто там, в малиновом беретте?" — не замечая, что это цитата, спрашиваю я, обернувшись на резкий рывок двери вагона. Обладатели ярких малиновых беретов — это члены Народной дружины, которые в поздние часы следят за порядком, помогая полиции. Как правило, это юноши-испанцы и негры. Они не только защищают порядок. Они защищают и себя, свое доброе имя. Ведь значительный процент нарушителей общественного покоя падает на негров и испанцев.

Правда, в последнее время я не вижу дружинников, и о судьбе этого начинания мне ничего неизвестно.

Вид у них был экзотический: масса заклепок, бусин и перьев украшали беретты. Да и на шее болталось множество цепочек и различных брелоков. Но самым замечательным в их костюме был лисий хвост, который они цепляли сбоку к ремню брюк.

Еще более экзотичные пассажиры — панки.

Англо-русский словарь Миллера дает следующее объяснение этому слову: "гнилушка"; "что-либо ненужное, ничемное, чепуха"; "неопытный юнец, простофиля". Составитель словаря не мог дать еще одного значения, потому что оно появилось относительно недавно.

Панки — это очень молодые люди, своим видом стремящиеся обратить на себя внимание, выделиться из толпы. В Нью-Йорке это непросто, впрочем, как непросто это в Париже и в Лондоне, где их несчетное множество и где они впервые появились. Поэтому панки — и девочки и мальчики — выбривают голову, оставляя что-то вроде запорожского чуба. Иногда чуб этот выкрашен в необыкновенный цвет, например зеленый. У других выстрижено только полголовы, а оставшаяся часть волос стоит дыбом. Цвет волос выбирается по вкусу — от естественного до фиолетового, синего или малинового. Однако зеленый почему-то преобладает. На руках и на ногах, а часто и на шее панки носят кожаные браслеты с заклепками. В одежде они весьма небрежны и порой увлекаются дырами в самых неприличных местах.

От хиппи, которых мы знали еще в Союзе, панки отличаются по всем параметрам: социальному, возрастному и идейному. Хиппи вышли из среды вполне обеспеченной. Панки — это дети улицы. Хиппи учились в университетах. Панки — слоняются по городу. Хиппи имели четкую философскую программу. Панки — стихийные анархисты.

Однако, если им не удалось еще разрушить и переделать мир на свой лад, то обратить на себя внимание им все же удастся. Их знают, о них говорят, движение их изучают, а пассажиры метро, завидев кого-нибудь из них начинают переглядываться и вступать в коллективные обсуждения странной личности. "Ты смотри, какой классный панкуша!" — ткнул меня в бок молодой парень, увидевший, что я читаю по-русски.

"Панкуша" — слово ласковое. Очевидно, ему, как и мне, они симпатичны. В конце-концов их бунт справедлив, как всегда справедлив бунт молодых, желающих утвердить свою индивидуальность. И я нахожу, что они артистичны. Они смогли создать свой стиль не только в костюме и прическе, но, как мне известно, и в музыке. Кроме того, они искренни, и среди них я видел гораздо чаще своих Ромео и Джульетт, чем среди прочих пассажиров. А я, как Карамзин, "люблю тех, которые любить умеют".

Сорок минут в метро далеко не все глазают по сторонам, как я. Некоторые вяжут, многие слушают магнитофонные записи, кое-кто занимается или просматривает деловые бумаги, и почти половина — читают. Ничего нет в этой картине необычного. Примерно то же можно наблюдать в Москве или Ленинграде.

Утром я еду чаще всего одним и тем же поездом. Час пик миновал, и на платформе уже нет толпы.

Взбегая по лестнице, я не смотрю на часы, а ищу глазами длинного мальчика в кипе. Если он тут, значит, я не опоздал. Мальчик где-то учится и в метро готовится к занятиям. Может быть, он будет бухгалтером, а может — экономистом. Не знаю. Но учебники его по каким-то счетоводческим наукам.

А вот и всегда раздражающая меня дама с расплывшейся фигурой и бульдожьими отвислыми щеками. Мы знаем друг

друга в лицо. Но на мои попытки ей поклониться она не отвечает. Неразделенное приветствие — почти, как неразделенная любовь.

Зато с этим господином в ковбойской шляпе мы приветствуем друг друга еще издали. Однако при явной взаимной симпатии в разговор не вступаем.

Через две остановки вагон будет набит и сидячих мест больше не будет. И именно через две остановки должна войти в вагон старуха с палкой. Минуту-другую я буду следить, кто уступит ей место. Если никто, то придется встать мне. Честности ради, скажу, что встаю я не чаще раза в три недели.

Я так привык к этой толпе, что иногда забываю, что это Нью-Йорк. В конце-концов и в Ленинграде я знал в лицо своих попутчиков, и легко могу увидеть в господине в ковбойской шляпе элегантного любителя женщин с Васильевского острова, а в мальчике в кипе — зубрилу из общежития Горного института, что было напротив моего дома.

Правда, ведут они себя все-таки по разному. Москвич или ленинградец, не задумываясь, пихнет вас кулаком в спину — поторапливайся, мол, или потеснись, видишь, не влезть мне в вагон.

Житель Нью-Йорка не сделает этого никогда. Ваша спина, как, впрочем, и ваш бок, для него неприкосновенны.

С другой стороны, как выясняется, москвич — человек бонтонный. Если он и нарушает правила хорошего тона, то втайне, надеясь, что его никто не видит.

Жителю же Нью-Йорка, похоже, мама никогда не говорила: "Тони, вынь палец изо рта!", "Джеки, не трогай пипку!", "Линда, не ковыряй в носу!", "Тс-сс, нельзя так громко смеяться в общественном месте".

Впрочем, это, конечно, лишь набросок к портрету, не более. Но мои сорок минут истекли. Я выхожу.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов  
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет оно была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книга Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА, РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александра Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

*Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги — 15 долларов. Пересылка — 1 доллар.*

*Заказы и чеки высылать по адресу:*

Time and We  
475 Fifth ave, room 511-A  
New York, New York 10017

ИЗ ПРОШЛОГО  
И НАСТОЯЩЕЮ

С этого номера мы начинаем печатать главы из недавно вышедшей по-английски книги Джона Баррона "КГБ сегодня". Автор — известный американский публицист — уже знаком читателю по сенсационной книге "КГБ", изданной несколько лет назад.

В своей новой блестящей работе Джон Баррон продолжает исследование тайной деятельности советской секретной агентуры.

Издательство "Время и мы" выпустит книгу Джона Баррона полностью в 1984 г.

Джон БАРРОН

## КГБ СЕГОДНЯ

### ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН

В августе 1981 года в Москве состоялось заседание военного трибунала, которому предстояло вынести приговор по делу майора ГКБ Станислава Александровича Левченко. Это дело чрезвычайно волновало не только руководство КГБ, но и Политбюро. Поэтому следствие по нему велось в обстановке особой секретности. Обвинение представило нескольких свидетелей, но почти все доказательства вины обвиняемого были исключительно косвенными. Их, однако, оказалось достаточно, чтобы трибунал поспешно вынес приговор: майор Левченко виновен в государственной измене и соответственно приговаривается к высшей мере наказания — расстрелу.

Сейчас с людьми, осужденными советскими судами, обращаются более гуманно, чем в прошлом. Начальник тюрьмы вызывает приговоренного к смертной казни и с угрюмой корректностью информирует его, что Верховный суд отклонил его просьбу о помиловании. Впрочем, остается послед-

ний шанс: можно обратиться с личным заявлением на имя председателя президиума Верховного совета. "Садитесь и пишите, о чем вы его просите. Можете писать сколько хотите, но помните: чем короче, тем вернее".

Забирая написанное заявление с просьбой о помиловании, начальник тюрьмы заверяет, что оно будет немедленно отослано председателю президиума. Обнадеженного таким образом заключенного возвращают в камеру.

Но на этот раз охранник безо всяких объяснений ведет осужденного не тем путем, каким тот был доставлен из камеры. Как только они минуют тюремный медпункт, второй охранник бесшумно возникает в боковом дверном проеме и стреляет осужденному в затылок из крупнокалиберного пистолета. Все обходится как нельзя лучше: никаких истерически сцен, пол запачкан лишь слегка, врач под рукой, и, чтобы констатировать наступление смерти, тело не требуется доставлять откуда-нибудь издалека.

Смертные приговоры военного трибунала приводятся в исполнение и так. Приговоренного со связанными руками, но без повязки, закрывающей глаза, выводят в тюремный двор или на парадный плац и ставят перед выстроенной здесь воинской частью, в которой он служил, либо перед группой его бывших коллег-офицеров, стоящих по стойке смирно. Как только офицер из трибунала зачитает смертный приговор, сзади к обреченному бесшумно приближается с пистолетом в руке "исполнитель". Страшное напряжение овладевает присутствующими. Обернется ли сейчас приговоренный, чтобы успеть увидеть, что с ним сию минуту произойдет? Но, успеет он обернуться или нет, это дела не меняет: исполнитель мгновенно всаживает ему пулю в голову. Именно так всегда делалось на Лубянке. И, уже испуская дух, осужденный оказывает партии последнюю в своей жизни услугу, являясь своего рода наглядным пособием в этом незабываемом уроке для присутствующих.

Без сомнения, именно так умрет майор Левченко, если КГБ удастся поймать его живым. В глазах КГБ никакое преступление не является более кошмарным и более опасным,

нежели то, что совершил он.\* Гнев КГБ в данном случае должен был бы обернуться особенно страшной мстостью еще и потому, что Левченко считался образцовым сотрудником этого ведомства. Его личное дело выглядело настолько безупречным, что его начальство просто невозможно было упрекнуть в утрате бдительности, когда в 1975 году оно послало Левченко в Токио. Предвидеть роковые последствия этого назначения оно не могло.

К середине 70-х годов токийская резидентура входила в первую пятерку главнейших зарубежных гнезд КГБ, соперничая с нью-йоркской, женеvской, парижской и нью-дeлийской. Япония — вторая крупнейшая промышленная держава капиталистического мира — стала наряду с США "целью № 1" во всей зарубежной деятельности КГБ. Помимо прочего, через Японию Советы получали большую часть секретной информации, касающейся Китая. И, наконец, КГБ рассматривало Японию как один из наиболее удобных районов, где можно было получать информацию об американской технологии и похищать промышленные секреты.

Конечно, в Токио, как и в остальных главных столицах мира, перед агентурой КГБ были поставлены и другие задачи, гораздо более важные, чем кража секретных чертежей. В первую очередь требовалось завербовать как можно больше политических деятелей, правительственных служащих, писателей, журналистов, художников, промышленников, уче-

---

\* Чтобы предупредить случаи побегов, "центр" распространяет ложные сообщения, будто многих из беглецов на Запад "уже нет в живых", — подразумевается, что это КГБ так или иначе позаботилось об их уничтожении.

Конечно, вынесенные заочно приговоры следует принимать всерьез, и КГБ правомочно приводить их в исполнение, если ему удастся добраться за границу до осужденного. Но если за два последних десятилетия КГБ ни разу не удавалось ликвидировать кого-либо из своих сотрудников, бежавших на Запад, то объясняется это тем, что они изменили свою внешность и вообще оказались тщательно замаскированными, а также пользовались поддержкой соответствующих зарубежных служб и находились под их охраной.

ных, — всех, кто бы так или иначе мог направлять японскую политику на пользу Советскому Союзу в ущерб Соединенным Штатам.

Намеченные для этой цели люди были людьми интеллигентными, незаурядными и требовали особого подхода. Поэтому КГБ в Токио нуждалось в таких сотрудниках, которые бы ориентировались в тонкостях японской культуры, истории, обычаях, знали бы различные стороны жизни этой страны. Одним словом, оно нуждалось в людях, которые своей эрудицией, тактом и умением себя держать в обществе могли бы понравиться японцам. Именно таким и был Станислав Александрович Левченко.

Начиная с девятилетнего возраста Левченко посещал привилегированную школу, где большое внимание уделялось изучению английского. Некоторые из ее преподавателей жили какое-то время в Англии. Теперь они старались привить своим ученикам манеры английских джентльменов. Проучившись шесть лет на факультете востоковедения Московского университета и занимаясь затем исследованиями, связанными с внешней политикой Японии, Левченко шесть раз побывал в этой стране и свободно говорил по-японски. Работая рука об руку с советским Комитетом сторонников мира, а в дальнейшем с Комитетом афро-азиатской солидарности, он показал себя умелым и тонким сотрудником, способным очаровать любого из иностранцев — от дезертиров из американской армии, оказавшихся за границей, до вожака ПЛО ("Организации освобождения Палестины") Ясира Арафата. Левченко достаточно хорошо владел пером, чтобы готовить международные комментарии для московского радио, статьи для журнала "Новое время" и рассчитанные на за границу декларации, которые подписывал лично Брежнев.

Да и облик Левченко соответствовал игре, для которой наметило его КГБ. Его слегка скуластое лицо с прямым носом, каштановые волосы и пытливый взгляд темных глаз в сочетании со стройной спортивной фигурой делали его весьма симпатичным молодым человеком — он был из тех, кто всегда к месту — и в дипломатическом салоне, и в изысканном ресторане, и в залах парламента.

КГБ не обнаружило в биографии Левченко каких бы то ни было изъянов или "идеологических отклонений," хотя он трижды проходил тщательную проверку. Первый раз — в 1966 году, когда советская военная разведка (ГРУ) начала готовить его к опаснейшему заданию в Англии, которое могло поставить мир на грань третьей мировой войны. В 1968 году Второе главное управление отозвало Левченко из ГРУ, чтобы использовать его в качестве своего агента. Объектом его деятельности должен был стать японский дипломатический персонал в Москве. В связи с этим Левченко подвергли вторичной тщательной проверке. И, наконец, года два спустя главное управление решило зачислить его в свой штат.

Каждая из проверок длилась несколько месяцев. На это время в квартире Левченко незаметно устанавливалась подслушивающая аппаратура, его телефонные разговоры записывались, за ним велась негласная слежка и к нему подсылали провокаторов. Непосредственно и через своих осведомителей КГБ скрупулезно изучало личность Левченко, расспрашивая его товарищей, родственников, соседей, — были разысканы буквально все, кто когда-либо так или иначе соприкасался с этим человеком.

Конечно, набралось какое-то количество компрометирующих слухов, мнений и даже фактов. Было неопровержимо установлено, что Левченко уединялся со своими коллегами женского пола в подвале огромного здания Комитета афро-азиатской солидарности. Во время беспосадочного авиарейса Токио—Москва он уговаривал стюардессу отдаться ему в одном из отсеков, предназначенных для отдыха экипажа, и она, по-видимому, уступила ему. Более того, когда самолет уже приземлился в подмосковном аэропорту, эта пара вновь была обнаружена в том же отсеке. Некоторые из источников критически отзывались о Левченко как о человеке невыдержанном и порой не умеющем держать язык за зубами, так что перед началом последней проверки один видный сотрудник КГБ по-дружески предостерег его: "Ты иногда бываешь слишком откровенным с людьми. Но на ближайшее время я хочу тебе посоветовать: держи рот закрытым и, кстати, застегни наглухо штаны!"

Наверное, в его личном деле набрались и другие малоприятные факты. Но во всех случаях Левченко был признан достойным доверия своего ведомства. Поэтому, надо думать, что все это были действительно мелочи и среди них не оказалось ничего такого, что могло бы поставить под сомнение его лояльность и пригодность для намечаемых операций. И решение руководства КГБ направить Левченко в Японию под видом журналиста и корреспондента "Нового времени" выглядело вполне логичным.

В последнюю ночь перед отъездом, в феврале 1975 года, Левченко взял такси и подъехал к православному собору рядом с одним из вокзалов. Выйдя и осмотревшись кругом, он заметил неподалеку постоянного наблюдателя от КГБ — молодого парня, сидевшего за рулем машины, как бы случайно остановившейся напротив собора. Направившись прямо к нему, Левченко вынул свое красное гебистское удостоверение:

— Где-то тут должен быть мужчина моего роста, в сером пальто и черной меховой шапке. Не заходил такой в церковь?

— Нет, товарищ лейтенант, за последние два часа одни только старухи...

— Ну, он мог проскользнуть незаметно. Это еще тот тип! Я пойду гляну, пожалуй...

Перед алтарем Левченко опустился на колени и произнес ту же молитву, какую не раз повторял еще в докагебешные времена: "Отец наш Небесный, прошу Твоего участия и милосердия. Молю Тебя, прости мне грехи мои, наставь меня на путь истинный, укрепи во мне веру!"

Выходит, КГБ при всей своей дотошности и въедливости чего-то явно недосмотрело. Свое самое заветное Левченко скрывал от окружающих так тщательно, что никто, даже его жена, не догадывался, что он был верующим человеком. И уж конечно, никому не могло прийти в голову, что в душе он уже давно взбунтовался против советской системы, ненавидя ее за тот чудовищный путь, каким она вынуждает идти его родину.

Должно быть, это мировоззрение он унаследовал от отца, по профессии химика, по необходимости — армейского офи-

цера. Станислав родился 28 июля 1941 года, в Москве, и его самое раннее воспоминание детства относится к 1944 году. В тот день отец подхватил его на руки и сказал ему что-то такое, чего он тогда не смог до конца понять: "Мама и обещанный тебе братик не придут домой, они умерли в больнице!"

Спустя четыре месяца он попал под грузовик и сам оказался в больнице с полураздавленным тазом. Теряя сознание от боли, мальчик услышал, как кто-то произнес над ним: "Нет, он не выживет..." Но женщина-хирург спасла его. Пролежав десять месяцев в больнице, он вернулся домой.

Постоянно навещая сына в больничной палате, отец Станислава подружился с Анастасией — так звали хирурга, и в конце войны они поженились.

Военное начальство назначило Левченко-старшего офицером связи в Белград. Возвратившись в конце 1947 года в Москву, он просил сына никогда и никому не говорить о том, что они были какое-то время за границей. На следующий год Сталин возобновил свои кровавые "чистки", и отцу пришлось настойчиво повторить свое предупреждение. Кроме того, он просил никому не рассказывать и о том, что у них дома есть иностранные книги. "Иногда приходится скрывать правду от некоторых людей, от посторонних, — сказал он. — Но перед самим собой надо всегда быть искренним".

Станислав вспоминает, что его отец не только проповедовал честность на словах, он и сам поступал всегда честно. Они жили в страшной тесноте, занимая одну комнату в коммунальной квартире, где, помимо них, было еще семь семей.

Однажды Станислав услышал, как мачеха убеждала отца использовать свои связи в военных кругах, чтобы там помогли ему с получением приличной квартиры. "А что делать тем, у кого нет таких влиятельных друзей? — возразил отец. — Нет, это было бы нечестно!" По тем же причинам он отказался воспользоваться протекцией для того, чтобы Станислава приняли в привилегированную школу с английским языком. "Пусть заслужит сам это право, пусть покажет себя на экзаменах". Правда, отец пригласил репетитора, чтобы помочь сыну в английском языке.

Левченко-старший был аполитичен. Он занимал должность начальника химической лаборатории в научно-исследовательском институте, принадлежащем военному ведомству, был автором учебников — и его интересы были сосредоточены на научной деятельности. Станислав никогда не слышал, чтобы отец критически отзывался о коммунизме, о партии или о ком-либо из советского руководства: он просто не высказывался на эти темы. Правда, у них дома хранились запрещенные труды дореволюционных историков. Бродя с сыном по букинистическим магазинам или гуляя в выходной день в парке, отец убеждал Станислава изучать всерьез историю и культуру России. От отца и из книг, которые были у них дома, Станислав узнал, что до революции в стране процветали науки, литература и искусство; из года в год собирались такие урожаи, что Россия обеспечивала хлебом не только себя, но и большинство стран Центральной Европы; Россия успела до революции создать собственную промышленность, уступавшую только таким странам, как Соединенные Штаты, Англия и Германия. Станислав унаследовал от отца его гордость за свою родину и его убежденный патриотизм.

Осенью 1953 года Левченко-старший, носивший тогда звание полковника, был выбран парторганизацией в качестве представителя от института на суд над Берией. Вернувшись поздно вечером домой, отец выглядел таким подавленным, каким Станислав никогда еще его не видел. Он наотрез отказался рассказывать о каких бы то ни было подробностях: "Это слишком жутко, чтобы говорить об этом. Невозможно поверить, что такие вещи могли происходить в нашей стране!" Именно тогда Станиславу впервые пришла в голову мысль, что Россия и Советский Союз — это далеко не одно и то же.

В 1954 году у Левченко-старшего врачи обнаружили рак, притом уже в неизлечимой стадии. Его сослуживцы — что было не вполне обычным явлением — обратились в Совет министров с ходатайством, чтобы умирающему присвоили генеральское звание. За три дня до смерти, уже в полубессознательном состоянии, он узнал, что произведен в генерал-май-

оры. Вскоре после его смерти семья Левченко стараниями тех же военных получила отдельную двухкомнатную квартиру.

Трудно понять, почему так произошло, но, оставшись вдовой, Анастасия вдруг воспылала бессмысленной ревностью к покойной матери Станислава: она сожгла все ее фотографии, уничтожила все до единой вещи, хоть как-то напоминавшие о ней, и официально усыновила мальчика. Это усыновление тогда казалось ему нелепой прихотью со стороны мачехи, но оно имело далеко идущие последствия. Из семейных документов были стерты записи, относящиеся к рождению Станислава, в частности самая опасная из них — то, что его мать была еврейкой.

Впрочем, сама Анастасия не давала подростку забыть об этом. Те самые черты в ее характере, которые позволяли ей уверенно командовать своим хирургическим отделением в больнице — энергия, решительность, нетерпимость ко всякому несовершенству, — делали ее невыносимым диктатором в семье. Измотанная работой, одинокая, лишившаяся мужа, без всякой надежды снова когда-нибудь выйти замуж, она порой срывала свои неудачи на сыне. Не в силах сдерживать себя, она могла яростно отшлепать его за ничтожную провинность, крича при этом: "Ты паршивый еврей, вот ты кто! Еврейство в тебя въелось, никогда тебе от этого не отмыться!"

Станислав, затаив обиду, мстил мачехе тем, что убегал на несколько дней из дому. Когда товарищи не могли приютить его у себя, он проводил ночи под открытым небом или где-нибудь в недостроенных домах. Потом в отношениях между мачехой и пасынком наступала полоса длительного перемирия, хотя и случались мелкие столкновения. Когда Станиславу было уже семнадцать лет, он как-то выдержал ее бурную вспышку, не отвечая ни словом, ни жестом, хотя она бешено колотила его, пока не выдохлась. Дождавшись этого, он сказал: "Никогда больше не бей меня, а то я боюсь, что не выдержу и дам сдачи".

Он ушел от мачехи, едва став студентом и, будучи на первом курсе университета, женился на восемнадцатилетней

студентке. Жену его звали Елена. Дед Елены — по происхождению дворянин — задолго до революции примкнул к большевистской партии. Он получил юридическое и биологическое образование и в те предреволюционные годы выступал защитником на судах товарищей по партии. Его интересы как биолога лежали в сфере генетики. В Станиславе он распознал живой ум и отнесся к нему с чисто отеческим участием. За разговорами они нередко засиживались до глубокой ночи. Теперь уже не опасно было говорить о преступлениях сталинской эпохи, и старик рассказывал о том, что ему пришлось пережить, с беспощадной откровенностью.

Несмотря на свою преданность партии, он был в конце 30-х годов арестован, доставлен на Лубянку и осужден за то, что возражал против дурацких теорий биолога-шарлатана Лысенко, одного из сталинских фаворитов. На протяжении двух лет его мучали допросами о его мнимом участии в империалистических заговорах, нацеленных на подрыв советской науки. По непонятным причинам его не подвергали физическим пыткам, но он слышал крики тех, кого пытали в соседних камерах.

Его сосед по камере, литовец, обвинялся в создании диверсионной группы, которая будто бы намеревалась устроить подкоп под кремлевские стены, заложить в подземный ход взрывчатку и взорвать Кремль. Путем чудовищных пыток от него добились признания в таком преступлении. Подобные признания заставляли верить, что слова некоего палача из Органов безопасности: "Дайте мне любого человека на одну ночь, и я заставлю его признаться, что он не кто иной, как английский король!" — не были пустой похвальбой.

Дед Елены рассказывал Станиславу об истинных причинах расстрела Тухачевского и других крупнейших военачальников. К концу 30-х годов Сталин уничтожил всю советскую военную элиту. Армия осталась без компетентного руководства — вот почему Гитлер с такой легкостью захватил за несколько месяцев половину территории европейской России.

— Я не могу этому поверить, — говорил Левченко.

— Как же не верить, — отвечал дед. — Хрущев сам все это

признал и рассказал партийному съезду. Я сохранил эти газеты. На, почитай!..

По мнению деда, ужасы, которые довелось ему пережить, были вызваны не только безумными действиями Сталина — человека, страдавшего манией величия, как теперь вдавливают народу партийные пропагандисты. Дело тут было скорее в неизбежных логических последствиях извращения марксизма, причем извратил его не Сталин, а еще Ленин. Именно Ленин создал систему тирании, предопределившую успех самих тиранов, — систему, которая существует только ради сохранения самой себя и привилегий правящего меньшинства. Эта система основана на терроре и может выжить лишь благодаря террору.

Этот террор то нарастает, то спадает, подобно волнам; он может приобретать новые разнообразные формы, но пока существует система, завещанная Лениным, то есть советская система, будет существовать и террор. Если его прекратить, система рухнет, лишенная своей главной опоры.

В библиотеке деда было собрание сочинений Маркса — разумеется, в русском переводе. Видя, что Станислав воспринимает подобные разговоры как кощунственные, дед настоятельно посоветовал ему почитать Маркса и сравнить его теории с окружающей советской действительностью. Конечно, Левченко не одолел все тома собрания сочинений Маркса, но и то, что он прочел, в сочетании с рассказами деда жены, посеяло в его душе серьезные сомнения.

Его жизнь в этой семье была приятной и интеллектуально насыщенной. Он редко ссорился с Еленой, их связывала подлинная дружба. Но их отношения были скорее братскими, и это не устраивало обоих. Прожив вместе года два, они решили разойтись.

Прошел еще год с небольшим, и Станислав женился на совершенно необыкновенной девушке. Она была студенткой архитектурного факультета и звали ее Наташей. Лицом и фигурой она напоминала манекенщицу — так совершенна была ее внешность. Ее отец — специалист по лесоводству — служил в президиуме Академии наук. От родителей Наташи



Станислав тоже услышал немало о преступлениях советской власти. Услышанное совпадало с тем, что говорилось в доме Елены. Многие друзья и родные Наташи и ее родителей, несмотря на свою верность партии, оказались в годы сталинских чисток на Лубянке и в лагерях. И многие годы Наташины родители тратили большую часть своих средств, чтобы помогать их осиротевшим семьям.

Но в начале 60-х Левченко еще верил, что, может быть, Хрущев и партия "преодолеют" это ужасное прошлое. В то же время, желая оставаться искренним с самим собой (как наставлял отец) и стараясь не закрывать глаз на истинное положение вещей, он не мог проходить мимо мелких, но зловещих фактов, вовсе не свидетельствующих о преодолении культа личности.

Как-то утром, в начале недели он встретил сокурсницу, которая пожаловалась: "Ужасно болит нога". Оказалось, что накануне она побывала на неофициальной выставке художников, устроенной молодыми энтузиастами на каком-то пустыре на окраине города. Вдруг подъехали машины, из них высыпали гебешники. Одни кинулись уничтожать выставленные картины, другие разгоняли и били художников и собравшихся зрителей. Позже Левченко узнал, почему так болела нога у его сокурсницы: в тот день ей сломали ногу.

Время от времени из университета исчезали студенты. Обычно это были те, кто вслух высказывался за ту или иную экономическую реформу, которая, по их мнению, назрела. Они пропадали бесследно, и о их судьбе ничего нельзя было разузнать. Но уж вовсе невыносимой была ложь повседневности, в которой Станислав сам вынужден был участвовать, хотя и считал это "беспредельным цинизмом".

К 1962 году он уже довольно хорошо говорил по-японски — ведь за плечами у него было три года учебы на восточном факультете. И теперь его иногда привлекал для сопровождения приезжающих в СССР японцев Международный отдел ЦК. Инструкции, которыми снабжали всех работающих с иностранцами, предусматривали ответы на всевозможные вопросы простодушных иностранных гостей.

— Почему у вас заставляют женщин делать мужскую работу? — спросил его как-то молодой японский социалист. — Мы у себя никогда бы не позволили женщинам носить кирпичи или собирать мусор.

— Социализм, — втолковывал Левченко японцу, — не допускает дискриминации женщин, и советские женщины требуют полного равноправия с мужчинами, в том числе и права выполнять ту же работу, что и мужчины. Вот почему у нас так много женщин-ученых, инженеров, преподавателей.

— Но я видел из окна поезда, как старые женщины носили тяжелые железнодорожные шпалы, Я просто удивляюсь, откуда у них берутся силы. У них был совершенно изможденный вид...

Станиславу пришлось изобразить возмущение:

— Неужели вы это видели собственными глазами?! Постойте-ка... сейчас я достану блокнот. Повторите, пожалуйста, чтобы я мог точно записать, когда и где это происходило. Я сейчас же сообщу об этом в совет профсоюзов той области. Будьте уверены: виновников такого безобразия строго накажут. Это прямой долг наших свободных профсоюзов: ни при каких обстоятельствах не давать трудящихся в обиду!

На последнем курсе университета Левченко добровольно в течение трех месяцев занимался несколько необычным делом: находясь все это время на борту советского патрульного судна, в Японском море, он участвовал как переводчик в допросах японских рыбаков, задержанных в советских территориальных водах. Он показал себя с такой хорошей стороны, что Министерство рыбного хозяйства после окончания им университета — дело было в 1964 году — закрепило его за собой. Впрочем, Международный отдел ЦК КПСС продолжал время от времени привлекать его как переводчика к выполнению разовых заданий, а в 1965 году предложил ему постоянную работу в Комитете защиты мира.

Эта организация совместно с Комитетом солидарности с народами Азии и Африки, куда в дальнейшем перешел работать Левченко, начала активную антиамериканскую кампанию. Ее цель заключалась в том, чтобы вынудить США

бросить Юго-Восточную Азию на произвол судьбы, после чего весь этот район неминуемо подпал бы под коммунистическое господство. Левченко тогда искренне верил в справедливость этого дела. В его представлении Америка обнаружила свою агрессивную сущность, набросившись на нищих, безоружных и беззащитных вьетнамских крестьян, применяя против них самое современное оружие. И, конечно, он безоговорочно поддерживал официальные цели своего Комитета — борьбу за дело мира и за ядерное разоружение.

Оба Комитета — и защиты мира, и солидарности с народами Азии и Африки — содержались в значительной степени на средства, выжимаемые партией из русской православной церкви, и на пожертвования, которые демонстративно делались видными писателями, спортсменами и т.п. во имя "дела мира". Церковь убеждала и рядовых прихожан жертвовать их трудовые копейки на то же пресловутое "дело мира", и небезуспешно. Бывали случаи, когда прихожане расставались во имя мира со своими фамильными драгоценностями. Люди легко поддавались на пропаганду, и иной раз пожертвования приобретали комический характер. Левченко помнил, например, одну старушку, которая принесла в Комитет цыпленка, полагая, видимо, что он будет отправлен голодающим Вьетнама или какой-нибудь другой страны.

На самом же деле Комитет солидарности с народами Азии и Африки использовал значительную часть пожертвований на то, чтобы приобретать оружие и военное снаряжение для так называемых национально-освободительных движений в Африке и на Среднем Востоке.

Левченко видел, что партия эксплуатирует точно так же, как церковь, и советский Красный крест. Чтобы расположить к себе московских корреспондентов зарубежных коммунистических газет. Международный отдел ЦК предоставлял им бесплатных помощников и выплачивал ежемесячные субсидии в размере трехсот рублей. Но Международный отдел, разумеется, не хотел, чтобы журналисты знали, что эти блага исходят от партии или советского государства. Поэтому все это делалось за счет Красного креста. Люди, платящие взносы

в эту организацию, и не подозревали, что их деньги идут на подкуп зарубежных журналистов.

Оба Комитета, а с ними и еще несколько подопечных Международного отдела ЦК размещались в старинном особняке, в доме номер 10, по Кропоткинской улице. Здесь Левченко и его сослуживцы трудились по двенадцать часов в сутки, шесть дней в неделю стряпая пропагандистские материалы, организуя демонстрации и готовя инструкции для зарубежных фронтов советского государства. Вся эта деятельность в сущности была направлена на то, чтобы создать иллюзию народного гнева в разных странах — гнева, направленного на американцев, ведущих войну во Вьетнаме.

После такого дня во имя "дела мира" можно было и развлечься. Иногда Левченко присоединялся к компании сослуживцев, спускавшихся в подвал особняка, где располагалась фотолаборатория. Комитетский фотограф, пятидесятилетний старый холостяк, наловчился ловить голубей. Прикрепив кусочек хлеба к длинной бечевке, он одного за другим заманивал голубей в свой подвал и, свернув им шею и ощипав до последнего перышка, тут же зажаривал на вертеле. Жареные голуби отлично шли под водку. После такого изысканного ужина присутствующие привычно разбивались на парочки и расходились в поисках дальнейших удовольствий. Впрочем, по прошествии нескольких месяцев эти трапезы сделались более редкими, а там и вовсе сошли на нет: защитники мира съели в своем районе всех голубей.

Весной 1966 года Левченко как-то позвали к телефону. Сам по себе телефонный звонок был весьма ординарным — обычный вызов в военкомат. Но в военкомате Станислава поджидал некто в гражданском костюме, представившийся как полковник из ГРУ (военная разведка).

— Здесь разговаривать неудобно, — заметил полковник. — Выйдем отсюда.

Они долго прохаживались по объятому покоем и миром парку, среди благоухающих цветов. Полковник откровенно говорил о подготовке к войне. Когда станет ясно, что война вот-вот должна разразиться, Советский Союз намерен заб-

росить в страны Западной Европы своих разведчиков и диверсантов. Они будут сброшены на парашютах или высажены в прибрежных районах с подводных лодок. Левченко знает английский язык, изучал Англию в своей специальной школе, поэтому ГРУ намерено подготовить его к выполнению задания в окрестностях Ливерпуля.

— Не хочу вас вводить в заблуждение, — продолжал полковник. — Когда вас забросят туда, вам едва ли удастся продержаться дольше нескольких дней. Потом — смерть. Вам надо обдумать это предложение, вы вправе свободно решать, и, если откажетесь, это никак не запятнает вашу биографию. Ну, а если согласитесь, — значит, вы достойный сын нашей великой Родины...

Левченко дал согласие, не раздумывая.

Тем же летом его призвали на военные сборы. В течение шести недель он ежедневно являлся на учебу, и офицеры военной разведки обучали его тайнописи и шифрам, радиоператорскому мастерству, распознаванию на местности складов ядерных боеприпасов и прочим премудростям, необходимым разведчику. На следующее лето, проходя военные сборы в Подмоскovie, он прыгал с парашютом с вышки, тренировался в умении выживать "на подножном корму", в стрельбе из ручного оружия, в ориентировке на местности.

Ливерпуль интересовал советское военное ведомство как один из важнейших портов Великобритании. Один из офицеров подробно ознакомил Левченко с особенностями этого города и, главным образом, района доков. Станиславу предстояло засекать здесь все данные, связанные с перемещениями военных кораблей и воинских частей. Вот когда ему должны были пригодиться знания, накопленные при изучении фотоснимков различных видов английского вооружения, как ядерного, так и обычного. Ему четко объяснили: с того момента как он ступит на британскую землю, ему придется полагаться только на себя и действовать в одиночку.

— А как я выберусь оттуда? — спросил он.

Инструктор помедлил с ответом,

— Ну, когда вы там окажетесь, вам дадут знать... всему свое время.

Оба рассмеялись: было ясно, что его готовили на роль смертника.

Предполагалось, что в дальнейшем Левченко придется время от времени проходить краткий курс дополнительного обучения, чтобы освежить свои знания и получить новую информацию взамен устаревшей. Офицеры ГРУ произвели на него впечатление смелых людей, которые с пренебрежением относились к КГБ и были далеки от всепроникающей партийной демагогии. Казалось, они всецело поглощены делом защиты отечества. Станиславу льстило то, что и его сочли достойным работать в ГРУ. И если бы ему было позволено остаться в этом ведомстве, его идеологические разногласия с советской системой, вероятно, постепенно бы стерлись.

Но вот как-то в начале 1968 года, после сытного, с обильной выпивкой обеда в ресторане, офицер ГРУ смущенно сказал ему, что отныне он переходит в ведение Второго главного управления КГБ. Левченко оскорбленно запротестовал, но его собеседник ответил: "Мы тоже возражали. Но нам приходится слушаться КГБ. Так что и тебе придется подчиниться".

Левченко должен был явиться в один из номеров гостиницы "Берлин", рядом с площадью Дзержинского. Эта гостиница давно была облюбована Вторым главным управлением, которое установило подслушивающую аппаратуру в каждом номере и оборудовало ею каждый стол в гостиничном ресторане и баре. С помощью волоконно-оптических световодов, вмонтированных в потолки, оперативные работники могли подглядывать за всеми действиями иностранцев, которых поселял в эту гостиницу "Интурист", и фотографировать их. Наиболее пикантные фотографии, полученные таким путем, часто ходили по рукам во Втором главном управлении, забавляя его офицеров.

В гостинице Станислава ждал полковник Азизов — смуглый с сардонической усмешкой татарин, посасывающий трубку. Левченко счел нужным сразу же заявить ему, что не станет работать осведомителем. Азизов усмехнулся: "Конечно же нет, дорогой товарищ! У нас для этого дела хватает жопо-

лизов. Их на любой улице больше, чем мусора. А вас мы считаем интеллигентным человеком и приготовили для вас настоящее дело. Вы нам поможете в борьбе с серьезным противником. С японцами!"

Техники из КГБ так нашпиговали подслушивающей аппаратурой японское посольство и квартиры японских дипломатов, а установленные там микрофоны обладали такой чувствительностью, что фиксировался любой звук, даже шепот или падение капель из крана. Это позволило КГБ следить за каждым шагом дипломатов и постепенно нащупывать их человеческие слабости. Заметив, что один молодой дипломат никогда не встречается с женщинами, КГБ пришло к выводу, что имеет дело с гомосексуалистом.

— Теперь нам придется отловить парочку гомиков, — сказал Аэизов.

— То есть, как? — переспросил Левченко.

— А очень просто. Мы их всех знаем наперечет, и, когда требуется, мы нескольких арестовываем и ставим перед выбором: тюрьма, где они скоро загнутся, или возможность наслаждаться своим вывихом, служа при этом отечеству. Они, конечно, всегда выбирают последнее.

Полковнику казалось, что он рассказывает нечто забавное.

Это, однако, было далеко не все, с чем Левченко столкнулся на новой работе и что называл про себя "безграничным цинизмом". Офицеры Второго главного управления подтвердили слухи, которые он считал невероятными. Да, диссиденты, недовольные и прочие идеологические саботажники проходят обработку в психушках. По определению, всякий, кто не в состоянии приспособиться к советской действительности, психически нездоров. Заточение смутьянов в психушки позволяет обойтись без "вещественных доказательств", "улик", "свидетельских показаний", очных ставок, которые были бы необходимы, чтобы отправить эту публику в лагерь. К тому же в психушках пытка проводилась с помощью лекарств и оказалась намного более действенной. Кроме того, она не расстраивала нервную систему палачей, как прежние зубодробительные методы. Это было именно то, что предсказывал дед Елены: террор продолжается, только в ином обличье.

Сопровождая иностранцев, гостей Комитета солидарности с народами Азии и Африки, Левченко объехал большую часть Советского Союза. Он показывал им образцовые заводы, колхозы, больницы, школы, ясли, содержащиеся специально для демонстрации таким визитерам. Иностранцы просто не могли увидеть обычные колхозы, где урожай гнил на корню, а бездействующая техника ржавела, брошенная под открытым небом. Не могли они видеть и заводы, остановившиеся из-за отсутствия сырья или комплектующих деталей. Не знали об антисанитарных станциях первой помощи или домах без канализации. Их оберегали от вида очередей перед дверьми магазинов с вечно полупустыми полками. Левченко и его коллеги, сиюсь утаить от гостей действительные условия жизни большинства советских граждан, вечно находились в напряжении. И это было унижительным.

Моральное состояние Станислава еще более ухудшалось из-за поездок в Японию, которые выпадали на его долю по линии Комитета солидарности с народами Азии и Африки чуть ли не каждый год. Всякий раз он возвращался домой под впечатлением бурного роста японской экономики, заполонившей улицы автомобилями, а магазины — продовольствием, одеждой и непрерывно растущим потоком великолепных новых, невиданных в СССР изделий. Так вот она какова экономика общества, над которым не висит топор всемогущего КГБ, где людей не бросают в психушки и лагеря принудительного труда!

К 1968 году, когда советская власть отпраздновала уже полу столетний юбилей, Левченко вполне утвердился во мнении, что большевистская революция оказалась лишь жалким подражанием революции 1789 года во Франции. Он считал, что никакая другая революция не принесла столько несчастий народу, который она взялась "освободить".

Но выхода он не видел. Противопоставление себя системе способно привести только в лагерь или психушку. Он даже подумывал одно время о самоубийстве, но решил, что это слишком трусливый выход из положения. И в довершение всего — он не смел ни с кем поделиться своими мыслями.

Вот тогда-то он и обратился к религии. На протяжении столетий христианство было неотъемлемой частью российской истории и культуры. Водя иностранных гостей по церквям и соборам, Станислав находил православную службу величественной и прекрасной, видел просветленные лица верующих. Когда и как он сделался одним из них? — это осталось неизвестным, кажется, даже ему самому.

Стараясь быть искренним с самим собой, он создавал противоречие между религиозной верой и служением политической системе, которая высмеивает его Бога. Он пытался найти какой-то рационалистический компромисс: он должен жить с этим раздвоением в душе; быть может, его работа пойдет на пользу русскому народу; возможно, неудачи, которыми ознаменовалось нынешнее правление, вынудят систему пойти на необходимые изменения. Но ни один из этих доводов не казался ему самому убедительным. Кончилось тем, что он еще глубже ушел в работу, чтобы меньше думать.

Его служебное рвение в сочетании с природными способностями не остались незамеченными начальством и, возможно, привлекли внимание Первого главного управления. В январе 1971 года, хмурым студеным вечером, подполковник КГБ, курирующий Комитет солидарности с народами Азии и Африки, пригласил Станислава где-нибудь выпить после работы. Подполковник заговорил со Станиславом вполне откровенно — точно так же, как полковник из ГРУ три года назад. На все Первое главное управление и на него лично Станислав и его биография произвели самое благоприятное впечатление. Второе главное управление — это, в сущности, гнусная лавочка. Оно занимается главным образом преследованием собственного народа. Но Первое главное управление — совсем другое дело! Это управление помогает народу, поставляя стране новейшую зарубежную технологию и военные секреты, существенно важные с точки зрения национальной безопасности. "Вот это — действительно мужская работа! Вы узнаете здесь такие вещи, в какие посвящены считанные специалисты на всем земном шаре. Каждый день вы будете узнавать захватывающие секреты!"

Неизвестно, что сыграло тут большую роль: профессиональное превосходство Первого главного управления, личная проницательность полковника или перст судьбы, но так или иначе Левченко согласился стать штатным сотрудником КГБ.

Подмосковные леса всю зеленели и дышали свежестью, когда июньским утром 1971 года он впервые выскочил из служебного автобуса у ворот разведшколы, что находится рядом с Волоколамским шоссе, за деревней Юрлово.

Здесь за двухметровой желтой каменной стеной, по верху которой натянута колючая проволока, скрывается четырехэтажное кирпичное здание с множеством классов, канцеляриями, библиотеками — отдельно для секретной и для несекретной литературы, — спальнями, буфетом и амбулаторией. В подвале — хорошо оборудованные спортзал, плавательный бассейн и тир. Участок патрулируется сержантско-старшинским составом войск госбезопасности. Все охранники носят гражданскую одежду, вооружены макаровскими пистолетами, а по ночам им в помощь придаются немецкие овчарки. По окончании занятий каждое помещение школы закрывается на ключ, запечатывается, и специальные датчики, связанные с сигналом тревоги, следят за тем, чтобы ни одно живое существо не могло проникнуть в здание.

В классе Левченко было 120 человек. Не менее двух третей составляли свежие выпускники Института международных отношений, МГУ и подобных престижных вузов, остальные были набраны из разных гражданских учреждений или из подразделений КГБ. Многие владели по меньшей мере одним иностранным языком,

Класс делился на семь секций, каждую курировал военный в звании полковника. Левченковскому полковнику было под шестьдесят; этот седовласый подтянутый человек относился к своим подопечным с отеческой теплотой. Он разъяснил им, что они будут находиться здесь под неусыпным контролем. "Контролерами" являются сам полковник, преподаватели и "прочие" (то есть стукачи, которыми прослоен состав слушателей). К концу учебного года полковнику придется писать подробную характеристику на каждого слушателя, которая

важна уже хотя, бы потому, что будет вечно храниться в его личном деле. "Эта характеристика будет сопровождать вас всю жизнь, вплоть до выхода в отставку, — предупредил полковник. — Каждый, кто станет заглядывать в ваше личное дело, первым долгом наткнется на нее. Так что вы должны постараться, чтобы характеристика оказалась без сучка, без задоринки".

Другой полковник, собрав всех слушателей, объявил режим дня и перечислил школьные правила. Занятия начинаются в 8 утра и идут шесть дней в неделю. Первый час посвящается физподготовке: бегу по пересеченной местности, упражнениям на снарядах, плаванию, борьбе. Классные занятия идут с 9-ти до 2-х, затем часовой перерыв на обед, снова занятия с 3-х до 6-ти, и, кроме того, три вечерних часа отводятся на самостоятельную подготовку. Женатые слушатели, живущие в Москве и ее окрестностях, могут проводить субботние вечера и воскресенья дома; вообще же все свободное время слушатели должны использовать для чтения или упражнений по программе. Приносить и распивать алкогольные напитки в помещении школы не разрешается.

Слушателям запрещается упоминать свои настоящие фамилии как в разговоре друг с другом, так и с кем бы то ни было из преподавателей: они должны обращаться друг к другу, называя присвоенные им вымышленные фамилии (Левченко стал называться Ливенко). Так же будут обращаться к ним преподаватели и администрация. Отношения между слушателями должны быть товарищескими, но соображения безопасности исключают тесную дружбу и обмен деталями личной биографии, адресами, фотографиями и так далее. Слушатели могут бывать в близлежащей деревне, но ходить туда в одиночку запрещается — только вдвоем, и задерживаться там не следует. Не разрешено также собираться за пределами школы на пикники, праздничные обеды и какие-либо другие сборища.

Когда начались спецкурсы, Левченко обнаружил, что он подготовлен лучше, чем большинство его товарищей. Сказалось то, что было им получено в ГРУ. Кроме того, в Комитетах защиты мира и солидарности с народами Азии и Африки

он научился составлять доклады, писать статьи и готовить радиопередачи. Поэтому он не встретился с особыми трудностями при составлении образцов разведдонесений, которые строились по четким логическим правилам. Его неоднократные командировки за рубеж дали ему значительную практику в английском и японском, так что, в отличие от многих, он не нуждался в помощи со стороны преподавателей иностранных языков. Углубившись в теорию и практику разведывательной работы, он как бы шагнул с периферии в самую сердцевину реального мира шпионажа. Теперь он начал находить смысл и даже известное благородство в деятельности, которую раньше считал глупой, малозначительной и грязной.

Чтобы продемонстрировать слушателям необходимость тайной войны, преподаватели широко знакомили их с эпизодами из истории разведки, разъясняя далеко идущие последствия каждого такого эпизода. Левченко был прямо-таки потрясен впервые услышанной им здесь историей советского проникновения в тайны "Манхаттенского проекта". Таким кодовым названием американцы зашифровали разработку и производство первых атомных бомб. Хотя это предприятие являлось самым крупным по масштабам и самым сложным и дорогостоящим из всех, какие когда-либо затевались в области науки, техники и промышленности, американцам удалось полностью утаить его от немцев и от японцев. О том, что атомное оружие уже существует ни те, ни другие не догадывались до того дня, когда под грибовидным облаком чудовищного взрыва рухнули стены Хиросимы. А между тем в СССР ученые благодаря советской разведывательной агентуре все время были в курсе американских исследований и разработок. Когда американцы взорвали в пустыне под Аламогордо свое первое атомное устройство, Советы, не проводя никаких подобных экспериментов, уже имели в распоряжении чертежи, позволившие им начать подготовку к производству собственных атомных бомб. Украденная у американцев информация дала возможность сократить срок создания советского атомного оружия на несколько лет. "Несколько лет! — подчеркнул преподаватель, — в течение которых в противном случае мы бы полностью зависели от милости Америки!"

Левченко испытывал чувства восхищения и благодарности к тем, кто избавил свою родину — его Родину! — от такого опасного риска. Те же чувства охватили его, когда он услышал о деятельности Филби. Преподаватель лаконично сообщил, что Гарольд А.Р. (Ким) Филби находился в числе нескольких студентов Кембриджского университета, завербованных советской службой безопасности в 30-е годы. Личное обаяние, интеллект, аристократическое происхождение, а также необходимая советская опека позволили Филби сделать такую головокружительную карьеру в британской разведке, что некоторые его коллеги полагали: еще немного, и он станет ее главой. Во время второй мировой войны Филби и другие советские агенты в "Фореин офисе" отклонили предложение антигитлеровских элементов в Германии, добивавшихся заключения тайного союза с Англией. После войны Филби избавил своих советских друзей от чрезвычайных неприятностей дав им возможность схватить полковника разведки, пытавшегося перебежать к англичанам (дело происходило в Турции). Назначенный на должность координатора деятельности английской и американской разведок в период, когда ЦРУ было только сформировано, Филби, действуя на собственный страх и риск, "спас" Албанию, предупредив Советы об англо-американском плане свержения коммунистического правительства в этой стране. Преподаватели разведшколы многозначительно намекали, что еще не пришло время рассказать обо всех подвигах Филби и его агентурной группы, но что СССР "обязан ему очень, очень многим".

Однако больше всего воображение Станислава поразила история Рихарда Зорге. Этот человек родился в России. Отец его был немец, мать — русская. Он начал работать в советской разведке еще в юные годы. В качестве корреспондента солидной немецкой газеты Зорге был направлен в 1934 году в Токио. Перед ним поставили задачу: создать агентурную сеть, участники которой получили бы доступ в правительственные круги Японии. В Токио Зорге сблизился со многими служащими тамошнего германского посольства и сумел войти в доверие к японским лидерам, которые принимали его за

неофициального эмиссара нацистской Германии. Летом 1941 года, когда германские армии рвались к Москве, Зорге оказался в курсе дебатов, разгоревшихся среди японского руководства: должна ли японская империя расширять свою территорию за счет советской России (то есть двинуться на просторы Сибири), или ей выгоднее начать сражения с американцами и англичанами на Тихом океане. Советский генштаб, Сталин да и сам Зорге — все прекрасно понимали, что от решения японцев зависит судьба Советского Союза. Чтобы остановить немцев, Советы отчаянно нуждались в свежих войсках, которые неоткуда было взять, кроме как с Дальнего Востока. Но на оголение дальневосточных границ нельзя было пойти, пока японцы колеблются, на каком варианте агрессии им остановиться: это значило бы спровоцировать Японию на вторжение в Сибирь.

В августе 1941 радист, помощник Зорге, отстучал азбукой Морзе одно из самых важных донесений за всю историю военной разведки: японцы выбрали в перспективе "южное", а не "северное" направление агрессии — удар по владениям Соединенных Штатов в Тихом океане. Советы немедленно начали массовую и поспешную — и потому беспорядочную — переброску своих сибирских дивизий на запад. Примерно 500-тысячная армия прибыла на советско-германский фронт как раз вовремя, чтобы отбить немецкое наступление, уже непосредственно угрожавшее Москве. Сотни тысяч бойцов погибли, спасая Москву, но в конечном счете она была обязана спасением одному-единственному человеку, действующему вдалеке от театра военных действий — агенту-одиночке, которому спустя три года суждено было погибнуть на виселице в безвестной японской тюрьме.

Преподаватели разведшколы, разбирая выдающиеся разведывательные операции прошлого, затрагивали и подчеркивали их профессиональные, специфические особенности, что заставляло слушателей, и в том числе Левченко, видеть в них в первую очередь не романтические шпионские истории, а серьезные практические уроки на будущее.

Каждая из этих операций удавалась потому, что советская разведка готовилась к ним основательно и заблаговременно,

еще не представляя себе сколько-нибудь конкретно, какой выигрыш ожидает ее в будущем. Когда Зорге, Филби и физик-атомник Клаус Фукс, в ту пору совсем молодые люди, были впервые завербованы Москвой, никто не мог предвидеть, что один из них в критический для Советов момент станет пользоваться неограниченным доверием членов японского правительства, руководителей британской разведки или "Манхаттенского проекта". Ради успешного выполнения этих операций в течение многих лет беззаветно работало множество людей, так или иначе причастных к разведке, — начиная от безымянного связного и кончая высшим начальством, осуществлявшим руководство из "центра". Ни одна из этих операций не привела бы к успеху, если бы агенты вербовались лишь в тот момент, когда в них возникала необходимость. Так вот, заключали преподаватели, выявление, вербовка, постепенное внедрение агентов и продвижение их по линии легальной службы — самая важная из задач, стоящих перед сотрудниками Первого главного управления.

Все агенты, работающие за границей условно делятся как бы на два типа. Одни — это те, кто имеет доступ к политическим, научным или промышленным секретам. Другие — влияющие на принятие решений государственной важности и политику страны, в которой они находятся. В принципе, более ценны последние. Какими бы важными ни оказались для СССР похищенные в Америке атомные секреты, гораздо интереснее было бы иметь в США агентов, способных повлиять на американское правительство и убедить его отказаться вообще от "Манхаттенского проекта". По крайней мере до тех пор, пока атомное оружие не появится у Советского Союза. Чем больше у вас влиятельных агентов, тем больше шансов успешно манипулировать действиями других государств. Поэтому, сколько бы влиятельных агентов ни работало на вас, всегда надо стараться умножить их число.

В обычных вооруженных силах офицер может напряженно готовиться к военным действиям, всю жизнь совершенствовать то, что называется боевой выучкой и, однако, ни разу

не принять участие в боевых действиях. Напротив, сотрудник Первого главного управления непосредственно воюет на невидимом фронте начиная с того момента, когда он попадает в чужую страну. Сколь бы обыденными и непродуктивными ни выглядели там его обязанности, все они — существенный вклад в непрекращающиеся боевые действия. И, кроме того, всегда есть шанс, что очередной агент, которого вербует или опекает офицер из Первого главного управления, станет со временем вторым Фуksom, Зорге или Филби.

Проникшись этими соображениями, Левченко нашел, что называется, цель жизни. Существование мирового зла, воплощенного прежде всего в образе Америки, заставляет считать, что война в защиту Советской России неизбежна. В этих условиях Первое главное управление представляет собой форпост российской обороны. Преподаватели разведшколы подводили слушателей к убеждению, что тактика тайной войны приносит чрезвычайный эффект и, следовательно, имеет моральное оправдание. Точно так же, как всегда считалось морально оправданным уничтожение врага на поле битвы. Невольно повторяя слова подполковника КГБ, приглашавшего его на работу в Первое главное управление, Левченко говорил себе: "Да, это возвышенная цель. Это — настоящее дело для мужчины!" Лекции, посвященные методам работы иностранных разведслужб и контрразведок, оставили у него чувство, что он непосредственно участвует в подготовке надвигающейся третьей Отечественной войны. Еще более усилилось его восхищение теми, кто уже сегодня находится на переднем крае битвы.

Как-то раз в школе появился генерал из Второго главного управления, чтобы прочесть лекцию о новейших методах деятельности ЦРУ в Советском Союзе. Он утверждал, что хотя Второе главное управление неоднократно раскрывало и пресекало действия этой агентуры, тем не менее КГБ располагает сведениями, что утечка секретной информации продолжается, и это, естественно, очень беспокоит советское правительство. Успешно бороться с этим можно только парализовав соответствующие действия ЦРУ путем тайного проникновения



в штаб-квартиру американской разведки. "В этом деле, — закончил генерал, — мы надеемся на вашу помощь, товарищи из Первого главного управления!" И вновь Левченко почувствовал, как ему хочется оправдать доверие, оказаться достойным возложенной на него миссии.

С началом зимы 1972 года он энергично включился в тренировочные занятия, проводимые непосредственно на улицах Москвы. Вся его секция была на время расквартирована в большом особняке на одной из улиц, отходящих от Зубовского бульвара. Верхние этажи особняка были переоборудованы под типичную резидентуру КГБ за границей. Поскольку функции этих резидентур во всех странах примерно одни и те же (да и выглядят такие квартиры более или менее одинаково на всех широтах земного шара), слушатели разведшколы, попадая в этот особняк, вполне могли вообразить, что они находятся в Вашингтоне, Лондоне, Париже или Токио. Каждый день они выходили из подъезда этого здания, чтобы попрактиковаться в тактике, которую придется применять за границей.

Они прогуливались по улицам, выслеживая друг друга и в свою очередь пытаясь оторваться от преследования, закладывали данные им предметы в тайники и изымали их оттуда. Они старались незаметно прошмыгнуть через те или иные заданные им участки, по неуловимому для посторонних сигналу собирались вместе и вновь рассредоточивались по всему району, незаметно принимали донесения агентов, пользуясь миниатюрными радиоприемниками, скрытыми в шарфах и отворотках пальто. На заключительной стадии каждый должен был несколько раз тайно встретиться в условленном месте и в назначенное время с офицером КГБ, выступающим в роли агента-информатора.

Слушатели были предупреждены, что в ряде случаев за их действиями будут следить профессиональные филеры из Отдела наружного наблюдения. Если они обнаружат такую слежку, им следует отказаться от встречи с партнером, изображающим агента, а затем подробно отчитаться: когда, где и при каких обстоятельствах и по каким признакам они заметили,

что за ними следят. Если слушатель встретился с партнером, не обнаружив за собой наблюдения, выполнение задания ему не засчитывалось — равно как и в том случае, если он уклонялся от встречи, заподозрив слежку, которой на самом деле не было. Офицерам, игравшим роль партнеров, и филерам из Отдела наружного наблюдения вменялось в обязанность представить детальные рапорты о каждом таком случае. Необходимо было охарактеризовать поведение слушателя в целом и особо подчеркнуть моменты, когда последний действовал логично и сохранял самообладание.

У Левченко первая встреча с "агентом-информатором" должна была состояться ровно в полдень в одном из отдаленных ресторанов. Он вышел из особняка в половине десятого, доехал автобусом до ГУМа и, покупая газету в киоске, расположенном рядом с остановкой, постарался запомнить всех пассажиров, вышедших вслед за ним из автобуса. Все они явно спешили по своим делам и разошлись в разные стороны, только двое мужчин продолжали топтаться на остановке, увлеченные беседой и подчеркнуто не обращая на Левченко никакого внимания. Станиславу пришлось зайти в универмаг и задержаться там возле прилавка, незаметно поглядывая на входящих покупателей. Одним из них оказался мужчина с автобусной остановки. Войдя, он сразу же деловито направился совсем в другой отдел. Постояв минут десять в очереди, Станислав купил детскую игрушку — подарок своему трехлетнему малышу на день рождения. Выйдя и поджидая автобус, он заметил, что неподалеку отирается какой-то тип, ростом и фигурой похожий на того, что он заметил раньше. Правда, этот был совершенно иначе одет и, кроме того, гораздо старше, с седыми бровями и усами, вдобавок носил очки.

Станиславу пришлось сесть в автобус, идущий в другую сторону. Выйдя через несколько остановок, он зашел пообедать, потом сходил в кино, купил в булочной батон и вернулся в особняк. На вопрос куратора, состоялась ли встреча, он доложил, что ехавший с ним в автобусе наблюдатель последовал за ним в ГУМ и, находясь в универмаге, сумел переодеться, а также напялил парик и нацепил усы и очки.

— Как же вы его опознали после этого? — спросил полковник.

— А по туфлям. Туфли он не сменил.

Вечер того же дня застал Левченко снова на московских улицах. Он долго ехал автобусом и в метро, пока, наконец, не обнаружив никаких признаков слежки, встретился с партнером в здании стадиона, где шел хоккейный матч. Кругом восторженно обменивались впечатлениями болельщики, доселе незнакомые друг другу. В общем гуле Левченко незаметно обменялся необходимой информацией со своим партнером и без всяких приключений вернулся в особняк, где полковник сообщил ему, что он не ошибся: на этот раз наблюдения не было.

Не заметил он слежки и на следующий вечер, но, подсаживаясь за столик к своему партнеру в условленном заранее ресторане, расстроился из-за такой неожиданности: "агент", полковник Алтынов, ожидая его, успел напиться и прямо-таки лыка не вязал. Алтынов незадолго до этого погорел в Японии и теперь искал утешения в водке. Его должны были, вообще говоря, уволить из "органов", но начальство его спасло, прикомандировав к разведшколе. Стоит теперь Станиславу доложить, что в ходе выполнения задания полковник напился, — и того, безусловно, уберут из "органов". Но и скрыть это невозможно, потому что в таком случае самого Левченко обвинят в служебном несоответствии и, надо полагать, отчислят из школы. Мало было надежды и на то, что Алтынов, протрезвев, сам честно доложит обо всем и признает, что встреча фактически сорвалась по его вине, хотя Левченко явился вовремя. Очень часто бывает, что люди не могут простить окружающим своих собственных промахов и ошибок.

Как ни упрашивал его Левченко, Алтынов во что бы то ни стало хотел еще посидеть в ресторане. Заказав новую бутылку коньяку, он принялся выбалтывать грязные секреты, которыми был напичкан. Он требовал понимания, сочувствия и одобрения своих действий в Японии, кончившихся для него весьма плачевно.

Дело было так. Агентура "линии X", то есть оперативно-го сектора, отвечающего за научно-технический и промышленный шпионаж, донесла, что японскими учеными проведены успешные экспериментальные исследования некоторых смертоносных бактерий. Целью исследований было получение новых вакцин. По распоряжению из Москвы был похищен образец смертельно опасной культуры, который предстояло переправить в СССР, в один из центров бактериологической войны. Советские специалисты утверждали, что эту культуру ввиду ее особой опасности нельзя транспортировать, не приняв чрезвычайных мер предосторожности. Иначе в случае какого-нибудь непредвиденного происшествия, например катастрофы самолета, смерть выкосит целые области. Пришлось специально направить в Японию советское торговое судно, и резидентура поручила Алтынову сопровождать водителя-оперативника, который должен был доставить смертоносную ампулу в порт. Алтынов рыдал пьяными слезами, вспоминая, как они почти два часа продирались сквозь уличные пробки, ежесекундно ожидая, что вот сейчас в них врежется какой-нибудь идиот. "Мы бы погубили, — всхлипывал он, — сотни тысяч япошек!"

Левченко обнял его за плечи и заставил подняться из-за стола: "Товарищ полковник, вы очень устали. Это может случиться с каждым... Разрешите мне отвезти вас домой". Когда же Алтынов попытался вырваться из его объятий. Левченко резко и грубо схватил его за руки и прошептал: "Идиот! Они же собираются вызвать милицию! Плохи наши дела. Пошли!"

На пороге алтыновской квартиры Станислав сказал, что в своем рапорте укажет: встреча прошла нормально.

— Отвяжись от меня, — буркнул Алтынов.

Подав рапорт, Левченко испытывал понятную тревогу. Но спустя несколько дней полковник-куратор показал ему заключение Алтынова и он вздохнул с облегчением. Заключение кончалось такими словами: "В целом тов. Ливенко проявил последовательность, выдержку и смекалку, что позволяет считать его подготовленным сотрудником, на которого можно положиться в агентурной работе".

Четвертый выход Левченко прошел более гладко. Он довольно быстро обнаружил слежку. Каждый раз, когда он пересаживался с одного автобуса на другой, сзади неизменно пристраивалось две-три одинаковые "Волги". Школьная наука гласила: кому дважды удалось уйти из-под слежки, тот и впредь сумеет от нее отделаться.

В тот день, когда расписанием была предусмотрена последняя встреча с "агентом", Левченко отправился на нее необычно рано — в 7 часов утра, чтобы наверняка отвязаться от слежки, прежде чем произойдет это свидание, назначенное на обеденное время. По дороге он использовал все приемы, каким его учили и какие он сам мог изобрести: заглядывал в магазины, заходил в подъезды, спускался в метро, менял направление своих поездок, прыгал в отходящие автобусы. Наконец, не замечая вокруг ничего подозрительного он решил, что пора ехать на встречу. На часах было уже 11.30. Он сел в поезд метро.

Рядом сидел какой-то мужчина средних лет со спокойным, добродушным лицом. Когда поезд замедлил ход, приближаясь к очередной станции, этот незнакомец, не глядя на Левченко, прошептал: "Товарищ, за вами следят!" Тут же он вскочил с места и, не оборачиваясь, поспешно вышел из вагона.

В сильном замешательстве Левченко сошел на следующей станции, чтобы собраться с мыслями. Что бы это могло значить? Быть может, ему попался маньяк, страдающий галлюцинациями? Нет, не похоже. Наверное, он заметил нечто такое, что укрылось от внимания самого Станислава. Но как он решился на столь дерзкий поступок, прямо-таки на преступление (вмешаться во внутренние дела КГБ!), чтобы помочь незнакомому человеку? Должно быть, решил Левченко, это верующий христианин, мой собрат по вере. Подумав так, он решил воспользоваться шансом, полученным столь необычным порядком. Он отказался от встречи с агентом, пообедал в одиночестве и во второй половине дня доложил начальству, что в последний момент, находясь в вагоне метро, почувствовал, что за ним ведется наблюдение: "Я не могу объяснить,

почему я так решил. Как-то вдруг я интуитивно почувствовал слежку".

Оказалось, Левченко, вернее, его таинственный доброжелатель был прав. Поскольку Станиславу до сих пор удавалось уходить из-под наблюдения, на сей раз "они" окружили его невидимой подвижной стеной, — метод, обычно применяемый для известных КГБ иностранных агентов. Вся система московского метрополитена, как узнал теперь Левченко, пронизана линиями связи, так что филеры могут обмениваться информацией, находясь на разных подземных станциях и даже на поверхности. Это позволяет опергруппам, находящимся на станциях и в едущих поездах, не упускать человека, взятого под наблюдение, в то же время оставаясь им незамеченными. В зоне визуального контакта с объектом наблюдения может находиться всего один агент, а когда он уж слишком примелькается, его заменяют другим. В данном случае агентом, привлечшим внимание его соседа, была пожилая женщина колхозного вида с мешком огурцов, как бы направлявшаяся на рынок. Левченко вспомнил, что такая присутствовала в вагоне, но признался, что никогда бы ее не заподозрил.

"Они" приняли его объяснение и одобрили его интуицию. Но поскольку он не смог определить филера, ему пришлось на этот раз довольствоваться оценкой "4". Все остальные оценки были пятерки.

Впрочем, эти баллы не играли столь важной роли, как личные характеристики, составлявшие куратором и старшими офицерами из "центра", которые подробно беседовали с каждым слушателем перед тем, как допустить его к "государственным экзаменам". Беседы проводились и с женами слушателей. Как-то, в середине недели, полковник-куратор целый вечер расспрашивал Наташу (жену Левченко) о ее муже — вежливо и корректно, но достаточно вездливо. У нее осталось впечатление, что КГБ в первую очередь интересовало, насколько прочным можно считать их брак.

Когда государственные экзамены остались позади, полковник, отвечавший за группу Левченко, пригласил его к се-

бе в кабинет. "К сожалению, мне не удастся составить на вас абсолютно точную характеристику, — объявил он. Левченко похолодел. — Истина такова: я не могу найти у вас никаких минусов, — продолжал полковник. — А найти их необходимо, иначе никто моей характеристике не поверит. Вот и помогите мне сами".

К хвалебному тексту, где Левченко был охарактеризован как один из самых способных слушателей, когда-либо встречавшихся полковнику, они вдвоем приписали два замечания: во-первых, Левченко имеет склонность писать подробные донесения в тех случаях, когда достаточно и более кратких; во-вторых, порой "от избытка энтузиазма" он перескакивает с одного предмета на другой вместо того, чтобы сосредоточиться на главном и в срок доделать одно какое-то дело.

— Ах, да, — поразмыслив, сказал полковник. — Еще мы можем добавить, что вам следует побольше попрактиковаться в вождении автомашины.

Это было справедливо. Левченко водил машину весьма неважно. Впрочем, большинство слушателей впервые село за руль только в разведшколе, так что и спрашивать с них многого в этом смысле не приходилось.

С учетом работы в ГРУ и Втором главном управлении КГБ Левченко было присвоено звание старшего лейтенанта, и он был откомандирован в "Японское бюро центра" для подготовки к возможному выполнению заданий на территории Японии. Его месячная зарплата составляла теперь более 300 рублей. Это почти вдвое превышало зарплату среднего советского научного работника, врача, инженера, учителя или журналиста. Наташины родители уступили им свою двухкомнатную квартиру, совсем рядом с проектным бюро, где Наташа занимала должность архитектора, получая 120 рублей в месяц. Благодаря ежедневным занятиям физподготовкой и отличному питанию, которое полагалось слушателям разведшколы, Станислав физически чувствовал себя в этот период лучше, чем когда-либо прежде.

Капиталистический мир выглядел, если смотреть на него из "центра", захватывающе интересным, по крайней мере на

первых порах. Когда Левченко по утрам появлялся на шестом этаже в здании "центра", в комнате, где работало, кроме него, еще пятеро офицеров, его обычно ждала целая пачка телеграмм и донесений, поступивших из Токио за ночь. В них можно было, например, прочесть, что сказал президент Соединенных Штатов или государственный секретарь премьер-министру или министру иностранных дел Японии; какими сведениями о своих планах во Вьетнаме американцы сочли нужным поделиться с японцами; кто из японских политических деятелей получает чудовищные взятки и от кого; кто из тамошних парламентариев, издателей или промышленников все больше запутывается в силках, расставленных КГБ.

Впрочем, к сенсациям постепенно привыкаешь, и, когда первый пыл миновал и острота восприятия подобных сообщений притупилась, Левченко начал замечать многие куда менее эффектные реалии и болезненно реагировать на них.

Он с ужасом начал сознавать, что, связав свою судьбу с КГБ, он внедрился в самую сердцевину советской системы. Здесь существовало нечто вроде языческого культа или своего рода религии, приверженцы которой не имеют права на отступничество. Единственная уважительная причина для отступничества — смерть. Но пока есть силы, каждый посвященный в этот культ должен стоять на страже его и в то же время работать подобно ведущим шестеренкам в машине. Но их удалят и заменят другими, как только они будут сочтены устаревшими, износившимися или, может быть, просто по той причине, что пришли в негодность какие-то другие части той же машины. Более того: КГБ может уволить сотрудника, опозорить, свергнуть в нищету и поставить вне закона в любой момент и безо всяких на то причин.

Левченко был поражен судьбой участников многих возвышенных и героических историй, о которых им рассказывали в разведшколе. Он узнал, например, что японка, вдова Рихарда Зорге, а также все родные помощников Зорге, казненных японцами, влачили жалкое существование и умерли в крайней нищете, оказавшись без поддержки тех, кому они служили, брошенные ими на произвол судьбы.

Полковник Рудольф Абель годами жил в трущобах Нью-Йорка, руководя тайной сетью советской агентуры в США. Арестованный после того как его заместитель сдался американским властям, он стойко держался на следствии, и ФБР не удалось ничего узнать от него. В 1962 году американцы передали его Советам, обменяв на пилота разведывательного самолета "У-2" Пауэрса. КГБ предложило ему дачу под Москвой, персональную машину с водителем и даже снабжало его, заядлого курильщика, американскими сигаретами "Лаки Страйк", к которым он привык в Штатах, выкуривая по три пачки в день. Но поскольку Абель побывал в американской тюрьме, КГБ навсегда утратило к нему доверие и не могло допустить его к работе в "центре". Большую часть дня он просиживал в кафе, рядом с площадью Дзержинского, куда постоянно заходили офицеры КГБ. Абель искал их общества, они были с ним вежливы, но держались отчужденно.

Другой заслуженный тайный агент КГБ, подполковник Молодой, возглавлял в свое время группу шпионов, специализировавшихся на краже секретных чертежей английских и американских атомных подлодок. После возвращения на родину КГБ относилось к нему с непонятной подозрительностью, и он не смог получить никакой сколько-нибудь ответственной работы. Молодой затосковал, запил и в возрасте 47-ми лет умер от инсульта.

После того как в США бежал подполковник Юрий Иванович Носенко (дело происходило в 1964 году), из КГБ было уволено около полусотни офицеров, по большей части полковники и подполковники. Одного из них выгнали за то, что он вовремя не доложил о "признаках начавшегося разложения" Носенко, то есть о том, что последний иногда позволял себе переспать со своей секретаршей. Остальные были уволены в основном потому, что они были знакомы с Носенко, хотя у многих это знакомство было чисто шапочным.

В 1971 году перебежал к англичанам гебистский диверсант, капитан Олег Лялин. Это вызвало подобную же расправу со множеством не причастных к его побегу офицеров Пятого отдела КГБ. Больше всех не повезло тому офицеру,

которого меньше, чем других, можно было в чем-то обвинить. За некоторое время до побега Лялина он был направлен в Англию с заданием проверить имевшиеся сведения, будто Лялин ведет аморальный образ жизни, пьянствует и волочится за женщинами. По возвращении офицер сообщил, что эти сведения верны. КГБ положило его рапорт под сукно и, более того, осудило его за "очернение" коллеги. Когда же в КГБ узнали, что Лялин сделался британским агентом задолго до своего побега, тот же офицер был уволен в отставку. Оказывается, он должным образом не настоял перед начальством на верности своих выводов и на необходимости отзыва Лялина из Англии!

Станислав с отвращением убеждался, что, служа в КГБ, вообще не обязательно быть честным и нравственным человеком. Один из его однокашников по разведшколе, известный там как Александр Шибаев, оказался Шишаевым, сыном начальника управления цветоводства при Моссовете. По окончании разведшколы Александр Шишаев был направлен на работу в японский отдел, и Левченко вскоре понял, как оказался в КГБ этот безнадежный тупица.

В Первом главном управлении офицеры умирали часто, в относительно молодом возрасте и, как правило, неожиданно; некоторых хватал удар прямо за рабочим столом, в их кабинете, или же в коридорах "центра". Причинами этих инсультов и инфарктов были постоянная перегрузка по службе и эмоциональные стрессы. Но как бы там ни было Первое главное управление постоянно испытывало нужду в цветах, и на протяжении ряда лет их поставлял Шишаев-старший, притом бесплатно, даже зимой, когда цветы можно было достать, помимо него, разве что на рынке, и стоили они там бешеных денег. КГБ отблагодарило своего поставщика, обеспечив покровительство и карьеру его сыну.

Как-то утром — дело было в 1973 году — Левченко услышал громкий крик полковника Калягина, начальника Седьмого отдела. Полковник кричал: "Пронников уговорил Иси-у подарить Брежневу машину! Там во дворе ее сейчас проверяют. Спустиись, погляди, чтоб наши ублюдки ее не раскулачили!"

Подполковник Владимир Пронников, начальник одной из оперативных групп токийской резидентуры, незадолго до того получил орден Красного знамени за успешную вербовку Хирохиды Исида — бывшего министра труда. Исида оставался депутатом японского парламента и был видной фигурой правящей Либерально-демократической партии. В своих собственных интересах Пронников представил Исиду своему начальству как важнейшего потенциального проводника советского влияния в Японии, так что Советы всячески старались поднять его престиж. Советские руководители, в том числе тогдашний председатель Совета министров Косыгин, лично приветствовал его по прибытии в Москву, а к окончанию его визита приурочили такой жест: распорядились отпустить японских рыбаков, беззастенчиво задержанных в открытом море под предлогом, что они оказались в территориальных водах СССР.

В распространенной токийской газете "Асахи Симбун" в связи с этим появилось такое сообщение ее московского корреспондента, датированное 4 сентября 1973 года: "Советский Союз объявил сегодня, что он немедленно освободит всех 49 японских рыбаков, задержанных по обвинению в нарушении границы советских территориальных вод. Это заявление было сделано председателем Президиума Верховного совета во время встречи с Хирохидой Исида, главой делегации японских парламентариев, находящейся в СССР с дружеским визитом". Получалось, что именно Исида сумел добиться освобождения злосчастных пленников. Не отдавая себе отчета в том, что Советский Союз хоть завтра может нахватать сколько угодно свежих заложников (все под тем же предлогом "нарушения границы территориальных вод"), японская общественность восприняла этот факт как свидетельство авторитета, коим пользуется Исида у кремлевской верхушки, и как доказательство той истины, что если хорошо относиться к Советам, то они обязательно "отвечают взаимностью".

Автомобиль, доставленный Исидой в Москву, представлял собой огромный лимузин марки "Ниссан", темно-красного цвета, изнутри весь кожаный и оборудованный новейшими

достижениями автомобильной техники. Когда Левченко спустился во внутренний двор, чины из Управления охраны, отвечающего за безопасность советских лидеров, ощупывали и обнюхивали машину со всех сторон в поисках подслушивающих устройств, и его присутствие было явно излишним. Но приказ есть приказ, и он находился рядом, пока они не вывели ее со двора.

Левченко было известно, что КГБ периодически перекачивает в Японию через посредство Исида миллионы иен, как бы для возглавляемой им "Парламентской ассоциации японо-советской дружбы". При этом знаменательно, что КГБ не требовал от своего агента Исида отчета, на что израсходованы эти деньги. Очевидно, он приобрел эту дорогую машину по рекомендации Пронникова, знавшего, что Брежнев крайне неравнодушен к роскошным автомобилям заграничных марок, и Левченко подозревал, что она куплена на деньги КГБ. Брежневу, конечно, доложат, что это Пронников сумел подцепить на крючок японского деятеля — столь богатого и влиятельного, что ему ничего не стоит преподнести советскому боссу такую роскошную машину. "Словом, и здесь все тот же беспредельный цинизм", — в который раз подумал Левченко.

Если бы виновниками таких порядков в КГБ были отдельные лица, Левченко страдал бы меньше. Но дело было не в отдельных лицах. Большинство его знакомых и приятелей по новой работе казались честными и порядочными лишь до поры до времени — "пока позволяли обстоятельства". Левченко понимал, что все они — пленники как бы некоего культа, держащегося на жестокости, несправедливости, продажности и предательстве. Некоторые из них, достаточно для этого сильные, сумели выжить в гебешных джунглях, не принимая закона джунглей, другим это не удалось.

Наташа заметила, что ее муж теперь постоянно чем-то угнетен, и допытывалась у него, в чем дело. Он не мог открыть ей правду, — точно так же, как не мог признаться в том, что сделался верующим.

Новое назначение, состоявшееся в конце 1973 года, на время избавило Левченко от его мрачных дум. Кадровик Пер-

вого главного управления полковник Пастухов объявил ему, что КГБ решило направить его в Токио корреспондентом журнала "Новое время".

Этот журнал был основан в 1943 году, в качестве легального прикрытия зарубежной агентуры советских органов безопасности. По распоряжению Политбюро, двенадцать из его четырнадцати отделений за границей были укомплектованы исключительно гебистскими кадрами. Правда, новый главный редактор журнала Павел Наумов настоял на том, чтобы каждый офицер КГБ, назначаемый на эти места, доказал в течение годичного испытательного срока свою профессиональную пригодность в качестве журналиста, то есть то, что он в состоянии писать статьи, пригодные для публикации в журнале. Полковник Пастухов — лысый очкарик, ветеран госбезопасности, отдавший ей 35 лет жизни, пояснил: "Наумов — известная жопа, все это знают. Но мы не можем ему приказывать, потому что Крючков (Владимир Крючков, начальник Первого главного управления) души в нем не чает. Так что тебе придется потрафить Наумову, — это главное, что от тебя требуется в первый год. Если он даст тебе коленкой под зад, нам придется посылать тебя от ТАССа или от "Правды", что уже хуже".

В редакции "Нового времени", размещавшейся на Пушкинской площади, рядом с агентством печати "Новости", Левченко начал работать с января 1974 года. На третий день в его комнату бочком втиснулся один из литсотрудников — Жмеринский, держа в руках журнал "Ньюсуик" с карикатурой на Брежнева. Деланно хихикая, Жмеринский заговорщицки шепнул:

— Забавный рисуночек, не находишь?

Левченко поморщился:

— По-моему, непристойный.

Тот перестроился с проворством хамелеона:

— Я тоже так считаю. Забавно все же, как они из кожи вон лезут, пытаясь нас очернить. Это свидетельствует об их комплексе неполноценности!..

Левченко молча уставился на него.

— Ты чем-нибудь занят сегодня после работы? — спросил Жмеринский. — Сходили бы выпить пивка. Ради первого знакомства... Я угощаю!..

В грязноватой пивной Жмеринский заказал пиво и бутылочку водки. Левченко прекрасно понимал, что стукач обычно нуждается в паре глотков спиртного, прежде чем отважиться на "разговор по душам".

— Знаешь, я должен тебя предупредить... — начал Жмеринский. — Правда, может быть, ты уже сам это заметил. Но если нет, я просто обязан обратить твое внимание...

— На что?

— У нас в журнале очень сложная обстановка...

— Серьезно? Что же у вас происходит?

— Ну, ты наверно заметил, что восемьдесят процентов наших авторов и технических сотрудников по национальности евреи. Их никогда не пустят ни в какую заграничную командировку, а здесь им приходится ишачить дай Боже. Многие из них от этого совсем осатанели: еще бы — за границу не пускают, по службе не продвигают. У людей — никаких шансов. Жуть, правда?

— Я не заметил пока в редакции ничего такого жуткого. Тебе, конечно, лучше знать... Но, насколько я успел заметить, Наумов со всеми держится ровно...

Выпили еще. Жмеринский усиленно замахал руками:

— Давай забудем о служебных делах, ну их всех в задницу. Развлекаться так развлекаться! Как ты насчет...

Левченко уклонился:

— Знаешь ли, мне предстоит ехать в Японию... Приходится всего такого остерегаться...

Отбив эту попытку провокации, Левченко намерен был постепенно сломать невидимую стену недоверия, зависти и отчуждения, которая, как он чувствовал, отделяла его от сотрудников редакции. Большинство здесь, действительно, составляли евреи, которым никогда не доведется съездить в командировку за границу, хотя многие из них были куда более способными журналистами, чем офицеры КГБ, которым они помогали подготовиться к журналистской работе

в разных странах мира. Все эти работники редакции боялись КГБ и относились к нему с презрением, но трудились не за страх, а за совесть. Наумова много раз упрекали, что у него работает столько "лиц нерусской национальности", но он отшучивался: "Евреи работают, как дьяволы, — если держать их в черном теле!"

Работая так же напряженно, как и они, с готовностью берясь за любое дело, какое только требовалось в данный момент редакции, никогда не задавая никаких двусмысленных вопросов и не заводя разговоров на скользкие темы, Левченко со временем почувствовал, что "заслужил признание". Приблизительно тридцать процентов статей в "Новом времени" были написаны работниками Международного отдела ЦК (указывающимися под псевдонимом), около двадцати процентов — гебистской службой дезинформации и примерно столько же — сотрудниками министерства иностранных дел. Поломать такой порядок был бессилён даже Наумов. Он требовал, чтобы все статьи отвечали хотя бы минимальным требованиям в смысле стилистики, и Левченко заслужил уважение коллег вполне толковой правкой тех статей, которые в их первоначальном виде просто не годились для публикации.

Левченко предложил, чтобы тогдашний токийский корреспондент "Нового времени" присылал в редакцию не готовые материалы, а, так сказать, заготовки для них и просто вырезки из японских газет, с тем, чтобы на их основе он, Левченко, писал статьи и корреспонденции, которые пойдут в журнале за двумя подписями.

В результате такой кооперации офицер КГБ получил возможность время от времени отвлекаться от однообразной редакторской работы для подготовки статей, Наумов с удовлетворением отметил, что качество материалов по Японии заметно улучшилось, а японская — да и не только японская — контрразведка имела теперь возможность "засечь" на страницах "Нового времени" имя Станислава Левченко — по всей видимости, профессионального журналиста.

Перед отъездом в Токио Левченко по традиции должен был устроить отвальную в редакционном кафе-ресторане. Он

пригласил всю редакцию, включая технический персонал, — человек сто, но полагал, что придет не более двух десятков. Вручив директору кафе-ресторана сто рублей, он попросил его выставить на стол "как можно больше" еды и спиртного.

Левченко появился в дверях кафе-ресторана ровно в 8 часов — на этот час был назначен прощальный ужин, — и остановился, пораженный. Его даже бросило в пот. Столы ломались от закусок, от икры, балыка, сыра, на них красовались десятки бутылок лучших грузинских вин, коньяка и "Столичной", которую обычно нелегко было достать. Безусловно, это должно было стоить не меньше пяти сотен, — разве что Наумов, пустив в ход свои связи, заказал часть продуктов в правилейственном магазине. А в ресторане вопреки всем ожиданиям собралось человек восемьдесят, — едва Левченко вошел, все они поднялись с мест и устроили ему овацию.

Поздним вечером, когда приглашенные начали понемногу расходиться и все в зале были уже основательно навеселе, Наумов, остававшийся трезвым, произнес прощальное слово: "Товарищи, Станислав Александрович поработал для нас всего один год, но проявил себя как достойный член нашего коллектива и способный журналист. Разрешите пожелать ему всяческих успехов в выполнении трудных и ответственных журналистских заданий, которые ждут его в Японии. Он — хороший товарищ..."

Одна из присутствующих — хорошенькая полная блондинка, видимо имевшая случай узнать Станислава лучше, чем остальные, закричала, перебивая начальство: "Он и человек хороший!" И все засмеялись.

Отведя Левченко в сторону, Наумов сказал: "Вы — один из лучших наших сотрудников, и я считаю вас своим другом. Желаю вам удачи в вашей журналистской работе и во всякой другой. Да, между прочим: вы полетите первым классом и сможете взять с собой собаку. Я договорился, с кем нужно".

Обычай требовал, чтобы Левченко устроил также прощальный ужин для своих начальников по линии Комитета госбезопасности. За два дня до отлета он пригласил пятерых полковников из "японского бюро" в ресторан Дома киноактера.



Завсегдатаями этого ресторана были актеры и актрисы, разного рода киношники, писатели и партийные боссы, "курирующие" все виды искусства. Поэтому ресторан щедро субсидировался государством и здесь можно было по весьма умеренной цене получить великолепный шашлык, изысканные закуски и отборные грузинские вина. Но Левченко выбрал это место главным образом потому, что обстановка здесь напоминала "настоящую Россию" — ту Россию, что, по его представлениям, существовала в прошлом. Чтобы как-то справиться со своим настоящим и тем более будущим, он должен был искать опору в этом прошлом, быть может, воображаемом.

С верхнего этажа безвкусного здания сталинской эпохи, где они сидели, были видны площадь и длинный проспект, ведущий к Кремлю. Только что выпавший снег, отражавший городские огни, делал московский пейзаж каким-то необычным. Стены ресторана украшали старинные гобелены и идиллические сельские пейзажи.

Один из полковников внезапно обнаружил, что в этой изысканной атмосфере они со стороны, наверное, выглядят очень нелепо — разговор не клеился и они сидели, уставившись в стол и что-то невнятно бормоча вполголоса. "Что мы тут скусились, точно бляди в церкви! — воскликнул он. — Веселиться — так веселиться!"

Вечер прошел, как говорится, в теплой атмосфере, но в самом конце его произошло нечто необычное. Когда все встали, и начали прощаться, один из полковников попросил Левченко задержаться. Это несколько удивило Станислава, потому что в служебное время полковник был сух, флегматичен, немногословен, что называется, "застегнут на все пуговицы" и разговоров, не относящихся к делу, никогда не заводил.

— Я хочу выпить с тобой напоследок вдвоем и заодно дать тебе три совета, — начал полковник, когда они остались одни. — Если ты где-нибудь повторишь хоть слово из того, что я тебе скажу, я, конечно, заявлю, что никогда этого не говорил, и докажу всем, что ты врун, пятью различными способами. Кроме того, я оторву тебе яйца. Понял?

Левченко кивнул.

— Так вот. Первое: в настоящей оперативной работе никакие ситуации никогда не повторяются. Все случаи практически уникальны. Все правила, которые ты вызубрил, это еще не закон жизни. А закон — это твой собственный здравый смысл и сообразительность.

Второе. Держись подальше от ЦРУ. На тебя все время будут давить, чтобы ты вербовал американцев; старайся это делать при каждом удобном случае. Но если ты наткнешься на ЦРУ, помни, это всегда игра с огнем. Человек из ЦРУ будет только рад пообедать с тобой всякий раз, как ты пожелаешь. Рано или поздно он пригласит тебя к себе домой, — посмотреть, как живет типичная американская семья. Там окажется несколько славных американцев, хорошо знающих нашу страну, рассудительных и симпатичных. И вдобавок девушка, — одинокая, заметь, — которая выглядит, как голливудская кинозвезда, а по-русски говорит так, что заслушаешься. Она заставит тебя думать, что для нее на свете не существует других мужчин, кроме тебя.

В лучшем случае — ты напрасно потерял время. В худшем — ты влип, и бесповоротно.

Третье. Берегись Пронникова. Он опаснее, чем даже ЦРУ.

## В ЗМЕИНОМ ГНЕЗДЕ

После утомительного перелета сразу через семь часовых поясов Левченко надеялся, что их с Наташей ждет спокойная токийская гостиница, уютный номер, заграничный комфорт и сервис. Однако коллеги-гебешники забронировали ему номер в дешевом отеле рядом с посольством, который в основном служил приютом случайным парочкам, снимавшим номера на часок-другой. Всю ночь из-за тонкой стенки доносились то скрип кровати, то визг, то страстные стоны, то хихиканье. Спать пришлось лишь урывками, и около шести утра Левченко встал, оделся, не зажигая света, выпил чаю внизу в буфе-

те и, выйдя из гостиницы, бесцельно побрел по едва пробуждающейся улице, мысленно готовя себя к первой встрече с начальством из резидентуры.

Он чувствовал себя так, словно ему предстоит очутиться в змеином гнезде. Из того, что ему привелось прочесть и услышать в "японском бюро" "центра", он сделал вывод, что не менее половины всего взрослого населения советской колонии в Токио — явные осведомители КГБ, стукачи, старающиеся перещеголять один другого в одном — как выведать побольше компрометирующих фактов обо всех окружающих. Жены дипломатических работников упрямо старались втереться в доверие друг к другу и выдавали одна другую. Порой два сотрудника засиживались допоздна за бутылкой — а наутро спешили в посольство, чтобы накатать друг на друга доносы. Все опасались каждого, каждый боялся всех остальных. Беседовали между собой очень осторожно, избегая фраз, которым можно было бы придать двоякое толкование, и, по возможности, старались вообще не вести никаких разговоров.

Не зная точно расстояния от гостиницы до посольства, Левченко подошел к комплексу посольских зданий без четверти девять, и ему пришлось ждать до девяти, когда его впустили в здание. Одиннадцатизэтажное из белого камня посольство было современным по своему архитектурному облику и стояло в хорошо ухоженном саду. Рядом с ним высился огромный жилой дом в том же стиле, где квартировала большая часть советского дипломатического персонала, работающего в Токио. К услугам советской колонии в пределах посольского комплекса были плавательный бассейн, сауна, теннисные корты, магазин и кинотеатр. Многим из обитателей этого комплекса редко приходилось выбираться за его пределы, да и то в основном это были коллективные вылазки-пикники или экскурсии. Телевизионные камеры с дистанционным управлением, скрытые за полупрозрачными маскировочными экранами, держали под контролем всю периферийную зону этого участка.

Левченко вошел в облицованный мрамором вестибюль посольства. Здесь его уже ждал майор Вячеслав Пирогов. С

первого взгляда Станислав решил, что за четырнадцать лет, что они не виделись — когда-то они вместе учились в университете — Пирогов ничуть не изменился. Студенты уже тогда считали его стукачом — и, видимо, не без оснований, потому что после университета он подвизался во Втором главном управлении КГБ, пока отчим не выхлопотал ему перевод в Первое главное управление.

Пирогов был классическим, плакатным образцом "пролетария". Черные глаза навывкате и кривые выступающие вперед зубы придавали его лицу какое-то сатанинское выражение, усугублявшееся тем, что Пирогов каждую минуту пытался радостно осклабиться. На его неуклюжей фигуре мешковато сидел бессменный московский костюм, заношенный до того, что брюки сзади лоснились. О чем бы он ни заговаривал, он употреблял одни и те же стертые, штампованные выражения, словно читал тусклую партийную брошюру. Но уж таков он был от природы, и осуждать его было бы так же нелепо, как порицать собаку за то, что она лает. Эта бросающаяся в глаза партийная безликость Пирогова полностью лишала его той человеческой черты, которая именуется коварством, и делала его, скорее, безобидным. В этом смысле он был, что называется, "лучше многих других", и Левченко еще в Москве охотно, не в пример прочим, принял приглашение Пирогова присутствовать на его свадьбе. Женился Пирогов на очень некрасивой девушке, дочери полковника КГБ.

Выйдя из лифта на десятом этаже, они вошли в лишенную окон приемную резидентуры. Специальным хитроумным ключом Пирогов открыл серую стальную дверь и, нажав кнопку в полу, скрытую под пластинкой паркета, заставил открыться вторую, внутреннюю дверь. Пройдя затем по длинному коридору, оба очутились в просторном помещении, отделанном панелями под дуб. Здесь Левченко был представлен генерал-майору Дмитрию Ерохину, резиденту КГБ в Японии.

Ерохину было всего 42 года. Этот высокий офицер с суровой, мужественной внешностью незадолго до того сделался самым молодым генерал-майором во всем аппарате КГБ.

Этим он был обязан своей весьма успешной работе в Нью-Ели. Чем-то, похоже, озабоченный, резковатый в обращении, — впрочем, возможно, это была его всегдашняя манера, — он небрежно тряхнул руку Станислава и отпустил его, напутствовав всего тремя короткими фразами: "Мне говорили о вас как о блестящем специалисте по Японии. Так что я жду от вас отличной работы. Давайте, действуйте!"

Выйдя от него, Левченко увидел, что по коридору спешит им навстречу щеголеватый человечек небольшого роста в твидовом пиджаке, свежей голубой рубашке с галстуком в полоску и серых фланелевых брюках. Его густые темные волосы были тщательно приглажены, лицо выглядело молоджавым и свежим, — словом, внешность этого человека можно было бы назвать приятной, если б не его цепкий, испытующий взгляд. Его серые глаза не утрачивали своего безжалостного выражения, даже когда он улыбался.

Протянув руку, он сказал:

— Вы, наверно, Станислав Александрович? Меня зовут Владимир Алексеевич. Пойдемте со мной!

Пирогов тоже было двинулся за ними, но Владимир Алексеевич смерил его откровенно презрительным взглядом, и тот стусевался.

Полковник Владимир Алексеевич Пронников, глава "линии ПР", был вторым по старшинству офицером резидентуры. Но хорошо информированным сотрудникам Первого главного управления было известно, что должность и звание Пронникова далеко не соответствовали ни его действительной роли в посольстве, ни его влиянию.

Пронников родился в крестьянской семье. Его до сих пор удручали две вещи — "низкое" происхождение и рост, едва достигавший 165-ти сантиметров. То и другое, естественно, нуждалось в какой-то компенсации. Еще в юности Пронников усиленно занимался легкой атлетикой и боксом, закалил себя физически и по-прежнему находился в отличной форме, бегая по утрам и частенько играя в теннис. Он не курил, почти не пил и выглядел лет на тридцать пять, хотя в действительности был на десять лет старше.

В школьные годы он учился весьма усердно и благодаря своей отличной памяти снискал расположение учителей, многие из которых ценят в первую очередь безупречное зазубривание материала. Вполне заслуженно он был принят в Институт международных отношений, где блестяще овладел японским. Попав в Токио в 50-е годы, совсем молодым человеком, Пронников начал копировать манеру одеваться и поведение западных дипломатов. Он коллекционировал старые японские маски, любил щегольнуть в разговоре знанием малоизвестных подробностей японской истории и слыл сведущим человеком по части достоинств автомобилей зарубежных марок и французских вин.

Этот внешний лоск, приобретенный им за годы службы в посольстве, привлек внимание КГБ. Он был приглашен в аппарат госбезопасности в качестве совместителя.

В течение первого же года своего совместительства Пронников завербовал японского журналиста — успех, редко выпадающий на долю новичков, — и показал себя таким мастером интриг, что был зачислен в КГБ на постоянную должность.

Совершив после этого одну за другой три "челночных" поездки в Токио, он сумел завербовать там по меньшей мере шесть видных фигур, ставших проводниками советского влияния, а подкупив бывшего члена кабинета министров, Хирохиде Исиду, добился максимально возможного успеха: об этой удаче было доложено Брежневу, Косыгину и Андропову. Так что о существовании Пронникова узнали на самом верху.

Дальнейший взлет его карьеры казался уже вполне закономерным: его ждала теперь очередная должность в "центре", — вероятно, должность заместителя начальника какого-либо из управлений, с присвоением звания полковника, а затем — возвращение в Токио уже в качестве резидента КГБ. Заняв этот принципиально важный пост, он получит новые возможности отличиться и выбиться в ряды высшего руководства КГБ. Как слышал Левченко, его прочили со временем в начальники Первого главного управления.

Как всегда занятый выше головы, Пронников сейчас делал вид, что для него нет ничего важнее, чем поприветствовать нового коллегу. Впрочем, он на самом деле придавал этому первостепенное значение. Он привык сразу прикидывать, как новый сотрудник впишется в его личную, пронниковскую, систему агентов и осведомителей. Левченко, который уже имел опыт и обладал званиями, давшимися Пронникову ценой невероятных усилий, в этом отношении представлял для него особый интерес.

С показным дружелюбием Пронников давал понять Станиславу, что знает о нем такие детали, которые наверняка можно было добыть только через личных осведомителей. Как бы невзначай произнеся кличку левченковского пуделя, он спросил его, хорошо ли собака перенесла такой дальний перелет — от Москвы до Токио. Потом поинтересовался, продолжает ли Станислав увлекаться Шекспиром и Чосером, — их проходили в школе, где тот учился. Пронникову было известно о работе Левченко на дальневосточном корабле береговой охраны, в Афро-Азиатском комитете, он знал, какие отметки Станислав получал в разведшколе, кое-что знал и о жене Станислава, Наташе.

— Я слышал, твоя жена — Наташа, кажется? — замечательная красавица...

— Да, мне в этом отношении повезло, — сдержанно ответил Левченко.

— В самом деле, ты везучий... У тебя будет собственная машина, отдельная квартира, ты будешь обедать в самых лучших ресторанах, встречаться с интересными людьми! Многим ли в твоём возрасте выпадает такая удача? Надеюсь, ты не забыл, что всем этим ты обязан Первому главному управлению? Но смотри, не очень-то задирай нос, не вздумай отказываться и от моей помощи. Я приобрел тут, в Японии, порядочный опыт и с удовольствием с тобой поделюсь. Если говорить честно, резидент все эти дни жутко занят, так что нам не стоит соваться к нему еще и со своими заботами. Если у тебя возникнут проблемы или тебе захочется что-нибудь предложить, поправить, — давай со всем этим ко мне. Кстати,

а что с твоей женой, — ей ведь тоже требуется какая-нибудь работа? Это можно было бы, наверное, устроить...

Левченко прекрасно понимал, что скрывается за неприкрытой болтовней Пронникова: знание — это сила, а я знаю все или, во всяком случае, очень многое, — как бы говорил он. Служи мне как надо — и тебе обеспечено покровительство сильного. Ведь ты знаешь, что без меня Наташа никогда не получит в посольстве работы, — разве что если согласится "стучать". А мне, между прочим, ничего особенного от тебя не требуется. Ничего такого, что бы шло вразрез с твоими понятиями или твоей совестью. По крайней мере, на сегодня дело обстоит так...

Несколько позже Левченко, получив ряд устных наставлений, был проведен Пироговым по всем помещениям резидентуры и познакомился с ее неукоснительно соблюдаемым рабочим распорядком. Прежде всего они вошли в большой зал, где стояло не меньше двадцати или двадцати пяти рабочих столов. Сотрудники писали здесь отчеты и донесения, разрабатывали операции, занимались переводом документов. Курение и разговоры были воспрещены, и офицеры, безмолвно корпевшие за своими столами, напоминали, как отметил про себя Станислав, монахов в каком-нибудь монастыре.

Дверь, следующая за кабинетом резидента, вела из коридора сразу в два помещения. Одно из них занимали руководитель "линии X" и офицер, отвечавший за обеспечение связи с нелегальной агентурой. Из всех подразделений КГБ Левченко отдавал предпочтение именно "линии X", добывавшей научно-техническую информацию. Он полагал, что эта деятельность должна приносить пользу его народу. А токийский участок "линии X" работал, пожалуй, с наибольшей продуктивностью, уступая в этом смысле только участку в Соединенных Штатах. Впрочем, симпатизировал Левченко и офицеру связи, который вместе со своими помощниками должен был день и ночь рыскать по Токио, загружая и разгружая тайники нелегальной советской агентуры, которая прослоила японское общество на всех уровнях.

Вторая комната принадлежала руководителю "линии КР" и начальнику охраны. Пытаясь проникнуть в ряды сотрудников японских спецслужб, "линия КР" в то же время раскинула сеть осведомителей внутри советской колонии. В ее глазах сотрудники "линии КР" выглядели париями резидентуры, — еще бы, у них такая грязная работа!

Отдел охраны опекал многочисленных осведомителей, отвечая за физическую безопасность персонала посольства и советских сановников, посещающих Японию. На нем лежали обязанности по возвращению сбегающих советских граждан, он также проводил еженедельные лекции об опасностях, подстерегающих неискушенных советских граждан за пределами посольского комплекса, в ужасном капиталистическом мире.

Еще одна дверь по правой стороне коридора вела в помещение "американской группы", "китайской группы" и "активных мероприятий". Следуя указаниям группы "Норд", американская группа с фанатичным усердием собирала любую крупинку информации, какую удавалось получить, в отношении граждан США, пребывающих в Японии, — дипломатов, журналистов, бизнесменов, преподавателей, студентов, обслуживающего персонала и их семей. Эта группа постоянно прилагала усилия, чтобы завербовать японцев и вообще любых иностранцев, которые были знакомы с американскими гражданами либо "имели шанс" с ними познакомиться. Она составляла списки японцев, работающих в США, рассчитывая, что им легче подружиться с коренными американцами.

Китайская группа делала в общем то же самое, только по отношению к гражданам Китайской народной республики.

Группа "активных действий" координировала прямые подрывные акции и кампании по дезинформации, которые проводила резидентура непрерывно, используя свою агентурную сеть. Случались дни, когда эта группа получала из "центра" с полдюжины различных директив, в которых перечислялись новые темы для нелегальной ("черной") пропаганды, приказывалось начать распространять те или иные слухи или подбросить японской либо мировой прессе очередную фальшивку.

По другую сторону коридора располагались отделы оформления отчетов и донесений и комната под названием "секретарская", где две женщины — жены офицеров резидентуры — занимались регистрацией входящей и исходящей корреспонденции. На стенах этой комнаты были развешаны увеличенные фотографии сотрудников японской контрразведки, которые удалось достать, и перечень номеров автомашин, которые, как считалось, принадлежат ЦРУ. Надпись гласила: "Встретив где-либо машину с таким номером, запиши и немедленно сообщи точное место и время встречи".

К секретарской примыкал кабинет Пронникова, за которым находилось помещение, носившее загадочное название "Зенит". Здесь трудились техники, следившие за радиопереговорами на частотах, используемых японской контрразведкой и опергруппами полиции.

Каждый раз, когда офицер резидентуры направлялся на рискованную встречу с агентом, дежурный техник начинал тщательно прослушивать эфир. Обнаружив резкое увеличение интенсивности радиопереговоров японских спецслужб или уловив какой-нибудь другой подозрительный признак, он посылал в эфир специальный сигнал тревоги. Миниатюрный приемник в кармане офицера начинал зуммерить, что означало: необходимо прервать встречу или вообще отказаться от нее, если она еще не произошла. В обязанность операторов "Зенита" входило также наблюдение за экранами телекамер, скрытно расположенных вдоль ограды посольского комплекса.

Войдя в туалет рядом с выходом на лестничную площадку, Левченко впервые обратил внимание на могильную тишину, царившую в резидентуре. Пирогов с гордостью объяснил, в чем дело. Оказывается, стены, полы и потолки всего комплекса помещений, занимаемого резидентурой, были двойными, а промежутки постоянно "озвучивались" музыкой и пронизывались электронными импульсами. Это гарантировало абсолютную звуконепроницаемость стен резидентуры и делало бессмысленной любую попытку посторонних сил использовать аппаратуру подслушивания. Немногочисленные окна,

остекленные матовым оргстеклом, тоже были полностью звуконепроницаемыми и исключали возможность применения любых средств электронной или фотографической регистрации происходящего внутри здания.

Поднявшись по лестнице на одиннадцатый этаж, Левченко и Пирогов оказались в точно таком же коридоре, что и этажом ниже.

В первой слева комнате две переводчицы трудились над кипами краденой документации. Стенная ниша этой комнаты была битком набита радиоаппаратурой, микроволновыми приемниками, аппаратами звукозаписи, телетайпами и прочей электроникой. Здесь перехватывалась информация, исходящая от американских разведывательных спутников и других систем военного назначения, записывались чужие телефонные и радиопереговоры. Резидентура уже давно сумела подключиться к телетайпным линиям японского министерства иностранных дел и записывала все сообщения, передаваемые по ним. Процесс был до такой степени автоматизирован, что с ним управлялся один-единственный сотрудник КГБ, которому были приданы в помощь две офицерские жены.

Еще одно помещение по левую руку показалось Станиславу чем-то вроде музея шпионского снаряжения, многие экспонаты которого он видел здесь впервые. Большая часть вещей была изготовлена явно по индивидуальным заказам в московских лабораториях Комитета. Офицер, распоряжавшийся этими вещами, заведовал и находящейся рядом фотолабораторией. Установленный в ней фотокопировальный аппарат запирался секретным замком, ключ от которого каждый раз надо было получать в секретарской.

Упаковка дипломатической почты, в которой время от времени попадались похищенные детали новейшего японского оборудования и аппаратуры, производилась в большом помещении напротив комнаты электронной разведки. К этому помещению примыкала финчасть. Здесь офицерам резидентуры выдавались порой крупные суммы денег, необходимые для выполнения оперативных заданий. Финчасть требовала отчета только в мало-мальски значительных тратах, начиная со ста долларов.

В Кабинете микрофильмов, выходящем на лестничную площадку, дежурный офицер переснимал стандартные рапорты, представляемые сотрудниками после каждой встречи с агентом или по окончании той или иной операции. Снятые на микрофильмы копии этих документов отправлялись в "центр". Точное время и место встреч с агентурой заранее регистрировались в специальном журнале. Назначая такую тайную встречу или намереваясь пообедать с "нужным человеком", каждый офицер КГБ должен был заглянуть в этот кабинет и удостовериться, не появится ли в том же ресторане и в тот же день и час кто-либо из его коллег, преследующий подобную же цель.

Каждый новый ответственный сотрудник, прибывающий в распоряжение резидентуры, получал личный блокнот с грифом "совершенно секретно" и пронумерованными листами, куда заносил наиболее существенные детали проводимых им операций — действительные имена и фамилии своих агентов, их псевдонимы, телефоны, номера автомашин, детали запасных вариантов, чтобы не держать все это постоянно в памяти.

Выходя из помещения резидентуры, каждый был обязан вложить свой блокнот в специальный баул, который печатывался индивидуальной печаткой, и опустить в щель передвижного сейфа. В конце рабочего дня шифровальщик доставлял этот сейф в помещение референтуры на восьмом этаже, надежно отрезанное от внешнего мира бронированной дверью пятнадцатисантиметровой толщины. Дверь эту можно было открыть только изнутри. В референтуре круглые сутки, не исключая выходных и праздников, дежурил охранник или шифровальщик, он следил за работой криптографического оборудования и аппаратуры связи, установленной на спутниках, служившей для передачи информации.

Пирогов сообщил Левченко несколько паролей для открытых телефонных разговоров с посольством из внешнего мира, названия полудюжины ресторанов и ознакомил его с ограничениями в отношении спиртного. В пределах резидентуры пить воспрещается, — разве что сам резидент пригласит тебя отметить какое-нибудь торжество и сам предложит тост. Ни в

кчем случае нельзя напиваться в общественных местах. Попутно Пирогов, подмигнув, заметил, что, конечно, никому не возбраняется прихватить бутылочку домой и там втихомолку с ней разделаться.

Станислав из вежливости выслушивал всю эту примитивщину, время от времени выдавливая из себя любезную улыбку, но на душе у него кошки скребли. Не желая, чтобы Пирогов заметил это, он сослался на необходимость встретиться со своим предшественником по "Новому времени", который должен тоже ввести его в курс дел, извинился и поспешил уйти.

Вот как это здесь делается, — думал Левченко, выйдя на токийскую улицу. Они тут сорят деньгами, да это и понятно: для резидентуры деньги играют ту же роль, что для фронтового генерала — патроны и снаряды. Так что никому не придет и в голову подсчитывать, потратил офицер лишнюю десятку или нет, — следить за этим так же нелепо, как если бы боевой командир вздумал проверять, не зря ли солдат выпустил по врагу автоматную очередь. Всю жизнь Левченко наблюдал самые дикие и нелепые проявления бюрократизма, сковывающего, словно цепями, все отрасли советского хозяйства. Здесь, в резидентуре, а может быть, и в самом "центре", полностью презрели этот мелочный бюрократизм. КГБ угнездился в японской столице не для того, чтобы перебирать бумаги и писать бесконечные доклады. Он тут занят работой: подрывом японского государства, а заодно пытается, насколько возможно, насолить китайцам, американцам и всем остальным. Резидентура — это крепость, построенная для военных действий, и ее офицеры могут рассчитывать на успешное продвижение по службе только в том случае, если блестяще покажут себя в бою.

Почему бы, — думал Станислав, — не приложить те же понятия, диктуемые здравым смыслом, для решения задач мирного строительства там, дома? Почему нельзя предоставить народу известную свободу действий? Почему там не принято оценивать людей по их действительным способностям и достижениям?

Если не считать совершенной шпионской аппаратуры, сосредоточенной на одиннадцатом этаже, Левченко не нашел в резидентуре ничего, что могло бы его поразить. Конечно, здесь иные масштабы и более современный дух, — но в общем все похоже на типичную резидентуру, оборудованную для учебных целей в Москве. Он понимал, что эти огромные гебистские гнезда по всему миру устроены примерно одинаково, и горько было сознавать что в десятках мировых столиц тучи офицеров-гебистов в эту самую минуту корпят над краденными бумагами, шифруют, перехватывают чужую информацию, шмыгают по чужим улицам ради своих шпионских целей... И это — цвет нации, безусловно одаренные природой и хорошо подготовленные люди. Неужели их способности нельзя было использовать дома, во имя процветания собственной страны.

Отвлечься от мрачных мыслей можно было только, уйдя с головой в работу, то есть опять прибегнуть к испытанному средству, не раз уже выручавшему Станислава.

Прежде всего, следовало постараться выглядеть в глазах японских и западных спецслужб настоящим журналистом. Левченко Начал приглашать на обеды японцев, рекомендованных ему прежним корреспондентом "Нового времени". Он звонил депутатам парламента, правительственным чиновникам и коллегам-журналистам, стал бывать на дипломатических приемах и пикниках, стремясь любым способом привлечь к себе внимание.

Полагая, что его телефон прослушивается, он регулярно обзванивал лидеров всех японских политических группировок, чтобы взять у них интервью и попутно задавая заранее обдуманые вопросы. К удивлению японских политиков, когда прошли очередные выборы в парламент и избирательные участки закрылись, он в два часа ночи явился в штабквартиру Либерально-демократической партии узнать результаты голосования из первых рук, — словом, он действовал как серьезный корреспондент какого-нибудь западного издания.

Чтобы укрепить свои позиции, он старался чаще посылать статьи и корреспонденции в "Новое время", на первых порах

воздерживаясь от критики в адрес Японии и японцев. Одна из его первых корреспонденций была связана с посещением огромного универсального магазина "Исетан". Случилось так, что в здании универмага его застал сигнал тревоги, предупреждающий публику о пожаре или слабых подземных толчках, за которыми могут последовать более сильные. По этому сигналу тысячи покупателей быстро покинули здание универмага, соблюдая спокойствие, без паники и каких бы то ни было инцидентов.

Левченко рассказал об этом в "Новом времени", подчеркнув, что в подобных ситуациях проявляются такие черты японского народа, как врожденная дисциплинированность и общественная сознательность.

Объективный, благожелательный тон сообщений нового корреспондента не остался незамеченным: вскоре Левченко — первым из советских журналистов — получил доступ в престижный Национальный пресс-клуб.

Корреспонденты американских и западноевропейских изданий занимали в Токио прекрасные квартиры и даже порой отдельные дома. Станиславу досталась от его предшественника жалкая квартирка, кишасящая тараканами, в скверном районе города. Пришлось довести до сведения главного редактора, что это обстоятельство подрывает престиж журнала, — если не всего Советского Союза. Наумов тут же распорядился снять другую, вполне приличную квартиру и обставить ее современной мебелью, — "Новое время" брало на себя все связанные с этим расходы. Левченко подыскал отличную четырехкомнатную квартиру в первоклассном новом доме, в аристократическом районе Удагава, рядом с прекрасным парком и почитаемой всеми японцами синтоистской усыпальницей Мэйдзи. Смотритель, дежурящий в подъезде дома, несомненно, станет сообщать японской контрразведке, когда Левченко выходит из дому и когда возвращается. Но это даже к лучшему: ведь можно войти в подъезд, чтобы смотритель засек твое возвращение, а потом при необходимости выскользнуть через пожарный выход.

Роскошная квартира, новенький автомобиль, купленный

тоже на средства "Нового времени", хорошо сшитые темные костюмы, которые стал носить Станислав, оттенявшие красоту Наташиных платьев западного покроя, — все это диктовалось "оперативными соображениями".

Прикрываясь теми же "оперативными соображениями", Станислав и Наташа могли, не опасаясь неприятностей, пропускать унылые партсобрания и вообще уклоняться от соблюдения монашеских порядков, типичных для советской колонии. Все это выделяло их из среды тех, кто жил в пределах посольского комплекса под неусыпным надзором "линии КР" и множества гебистских осведомителей, — тех, у кого никогда не будет машины и возможности сорить деньгами в дорогих магазинах и изысканных ресторанах. В общем, они были "не такими, как все", и поэтому вызывали страх, зависть, неприязнь и привлекали особое внимание стукачей.

Одним из таких стукачей была Лариса, она же Лариса Петровна. Как-то в один из весенних дней она без приглашения заявила к Наташе, — якобы для того, чтобы по-дружески посоветовать, что и где лучше всего покупать в Токио. Ларисе было уже за сорок — женщина не первой молодости, к тому же большая любительница спиртного и озабоченная специфической личной проблемой — всем и каждому она рассказывала по секрету, что ее муж, офицер госбезопасности — импотент. Она до сих пор его не бросила только из альтруистических побуждений и по соображениям патриотизма, зная, что если они разведутся, его тут же отправят домой. Пострадает не только он, пострададет дело, которое он делает.

Незадолго до приезда Левченко эта дама оказалась героиней такого происшествия. Вдвоем с одним из посольских донжуанов Лариса выехала за город, в машине они занимались любовью и изрядно выпили. На обратном пути они врезались в чью-то стоящую у дороги машину, сильно ее помяли и сами тоже пострадали: Лариса до сих пор была бледной от потери крови и не вполне освободилась от бинтов. Ей удалось избежать наказания главным образом потому, что, во-первых, она была активным стукачом, а во-вторых, у ее любовника оказалась "рука" в Москве.



Источая благожелательность, Лариса старалась внушить Наташе, что, экономя иены и купив побольше японских товаров, которые можно захватить с собой в Москву, та распродаст их из-под полы и заработает целое состояние. В СССР очень ценятся японские транзисторные приемники, фотокамеры и часы, но они относительно дороги и в Японии. Поэтому лучше всего покупать косметику, ткани, джинсы, шариковые ручки и презервативы, которые здесь не чета советским.

Чтобы сэкономить иены, поучала Лариса, надо сократить расходы на питание. Например, покупать рыбы головы, кости и мясо не первого сорта, из которых можно, тем не менее, приготовить вполне приличные блюда. Наташа пыталась возражать: "Мой муж работает по пятнадцать часов в сутки! Ему требуется настоящее мясо, что ж я его буду кормить всякой дрянью?" Эта фраза, постепенно ставшая известной всей колонии, и была расценена как свидетельство "расточительного образа жизни" семьи Левченко. А расточительство — худший грех в глазах людей, страдающих маниакальной жадной экономии, чтобы потом нажиться на московском черном рынке. Еще одним доказательством расточительства Станислава и его жены считалось то, что они держат пуделя. Сорить деньгами, держа за границей собаку, — это уже не лезло ни в какие ворота.

Вживаясь в новую для себя обстановку, Левченко появлялся в резидентуре нечасто: у него было множество дел в других местах. Он совершенно ошеломил начальство, представив список фамилий и адресов всех иностранных корреспондентов, аккредитованных в Токио. Ему это, собственно, ничего не стоило: список пришел по почте. Японская ассоциация газетных издателей и редакторов, желая оказать иностранным журналистам помощь в работе, разослала им эту бумагу совершенно бесплатно, в порядке самой тривиальной любезности. Несмотря на то что у каждого корреспондента имелась копия этого списка, Пирогов пришел от него в такой восторг, что приказал Станиславу отрезать заголовки и представить список в Москву как случайно попав-

ший в их руки секретный документ. Вскоре "центр" откликнулся: "Материал, полученный от тов.Кольцова,\* представляет исключительную ценность, так как позволяет заполнить давно отмеченный нами пробел в имеющейся информации".

— Вот видишь! — сиял Пирогов. — Всегда слушай меня!

Встретившись как-то со Станиславом в коридоре резидентуры, Пронников выразил удивление, почему Левченко не заходит к нему. С некоторым сарказмом, как показалось Станиславу, он спросил: "Как поживает твоя красавица Наташа? А песик, что с ним? С этим прелестным песиком?.."

В апреле, тоже в коридоре и на ходу, Пронников вдруг заинтересовался: "Что, Наташа уже получила работу?" Он, конечно, не мог не знать, что незадолго перед тем посольство вернуло Наташино заявление с резолюцией: "Вакантных должностей нет".

Одним из наиболее многообещающих знакомств, завязанных Станиславом среди японцев, было знакомство с видным деятелем японской социалистической партии, которому КГБ присвоило кодовое имя Кинг.

*Перевод с английского И.Косинского*

*Окончание в № 76*

---

\*

Кольцов — рабочий псевдоним Левченко в КГБ. Фамилию Кольцов носил известный советский журналист, уничтоженный Сталиным и посмертно реабилитированный при Хрущеве.

## АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ И ДРУГИЕ

*Портретная галерея Льва Нисневича*

Когда-то, еще в той жизни, его имя было хорошо известно читателям "Литературки". Он был мастером фоторепортажа, и самое яркое, что появлялось в этом жанре, принадлежало именно ему, Льву Нисневичу.

Казалось, что он газете отдает всего себя без остатка. Но мало кто знал (а может быть, и вовсе никто не знал), что он еще работает в стол, без надежды напечататься сейчас, сию минуту, но все-таки с верой, что когда-то все это увидит свет.

Вот так — в двух словах — и появилась эта портретная галерея, которую мы предлагаем вниманию читателей.

Сказать, что Лев Нисневич — художник или, скажем, фотохудожник, значит вообще не сказать ничего. "Фото-художники, — иронически замечает он, — сегодня на каждом углу".

Нисневич — мастер, в том высоком и точном смысле, в каком принято говорить о подлинно творческом человеке.

Но если мастер, то есть, вероятно, и секреты мастерства. Да, есть. И, может быть, главный из них в том, чтобы запечатлеть героя в обстановке, вне которой он просто не способен раскрыться. Все будет: и лицо, и поза, и одежда, все — кроме личности, а стало быть, считает Нисневич, не будет ничего. Именно поэтому Окуджаву мы видим на Арбате в четыре часа утра. Шагала — на крыше гостиницы "Москва", Лилю Брик в ее саду, а Галича, нашего незабвенного Галича, — среди его героев. Помните Клима Петровича Коломийцева, — так вот, среди таких, как он...

Люди, даже самые замечательные, не живут в космосе. Люди живут на земле, и вне этой земной человеческой жизни не может быть ни подлинной красоты, ни подлинной поэзии.

*В. ПЕТРОВСКИЙ*

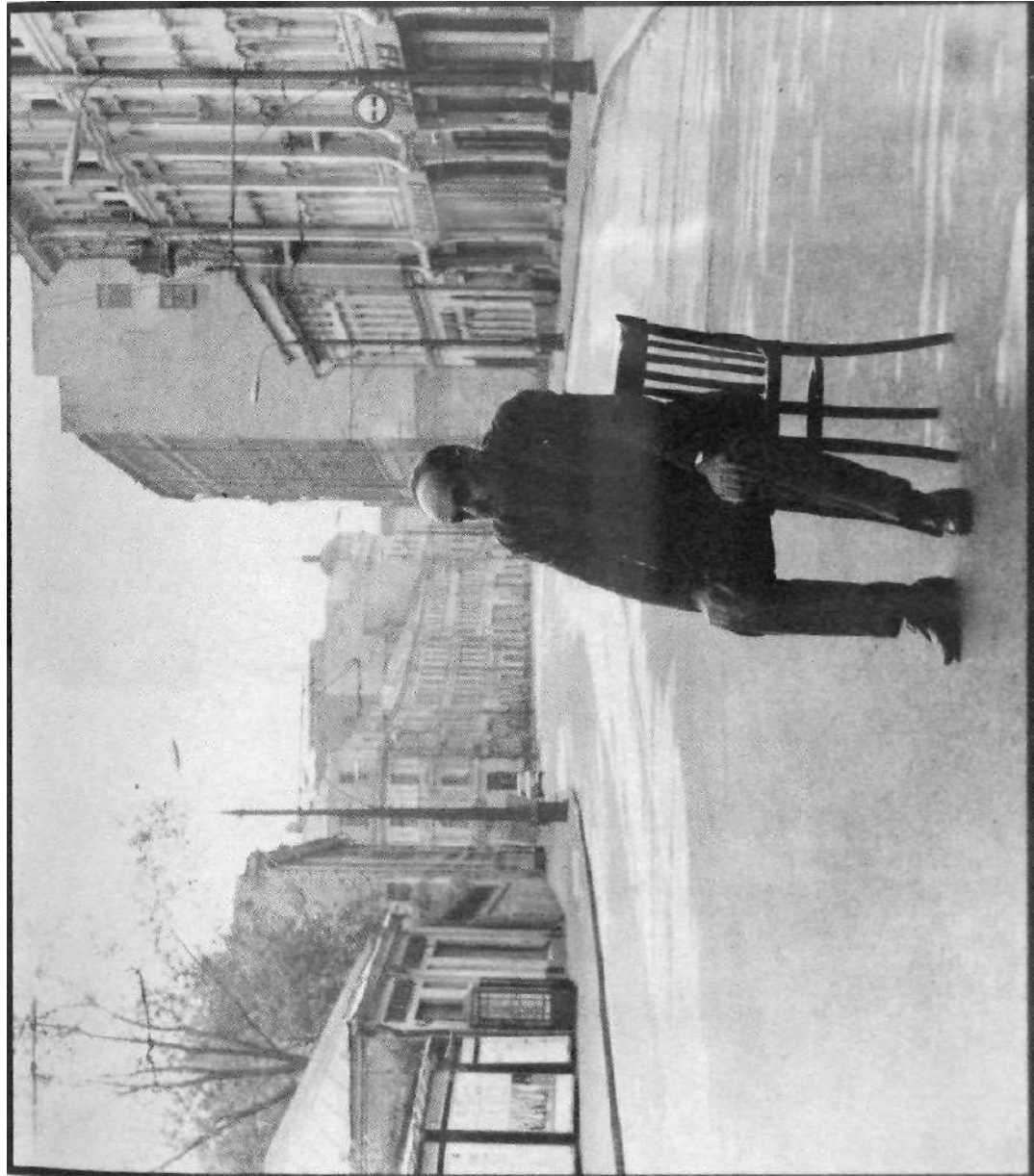


Писатель Василий Аксенов





Художник  
Марк  
Шагал



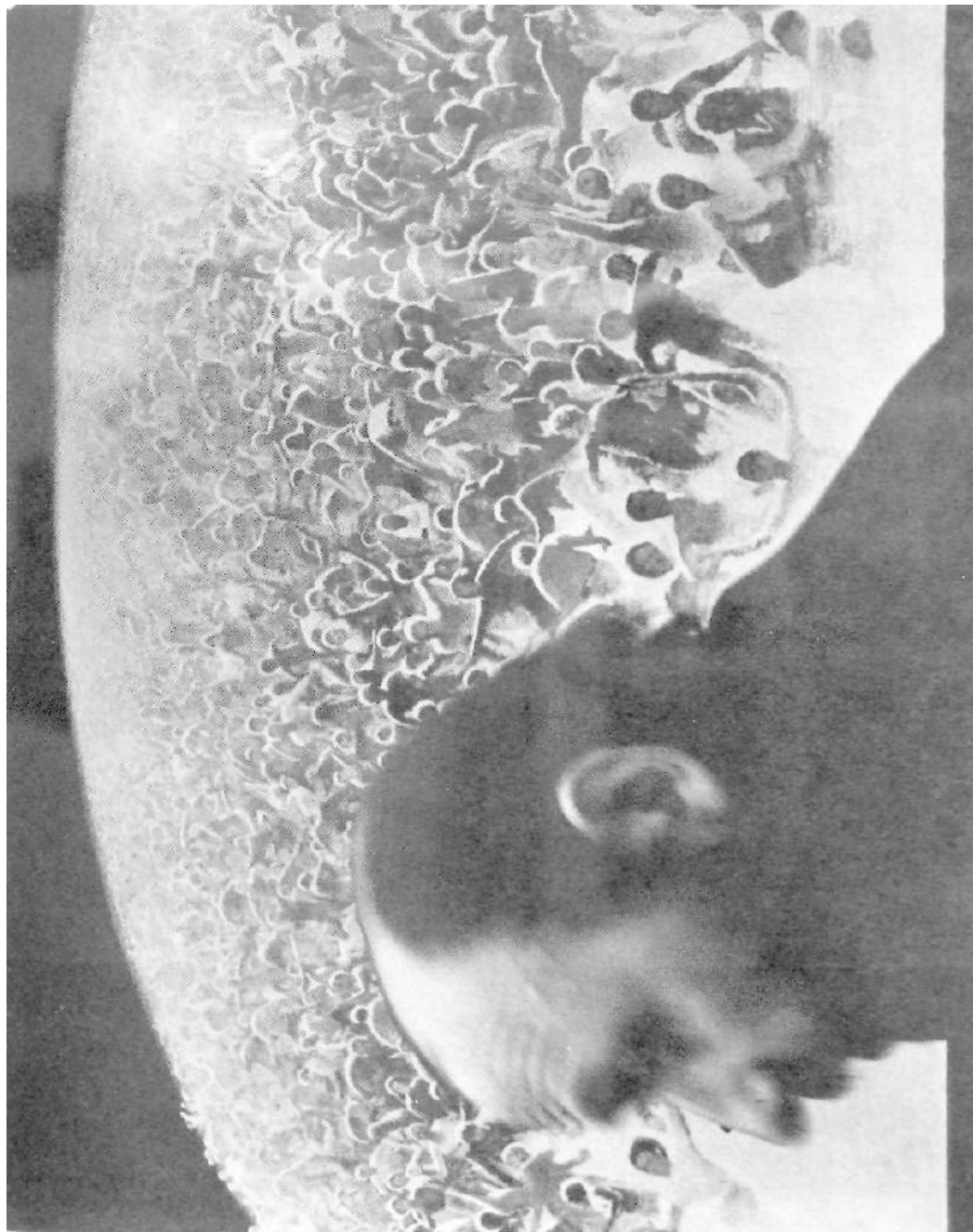
Поэт  
Булат  
Окуджава



Скульптор  
Эрнст  
Неизвестный

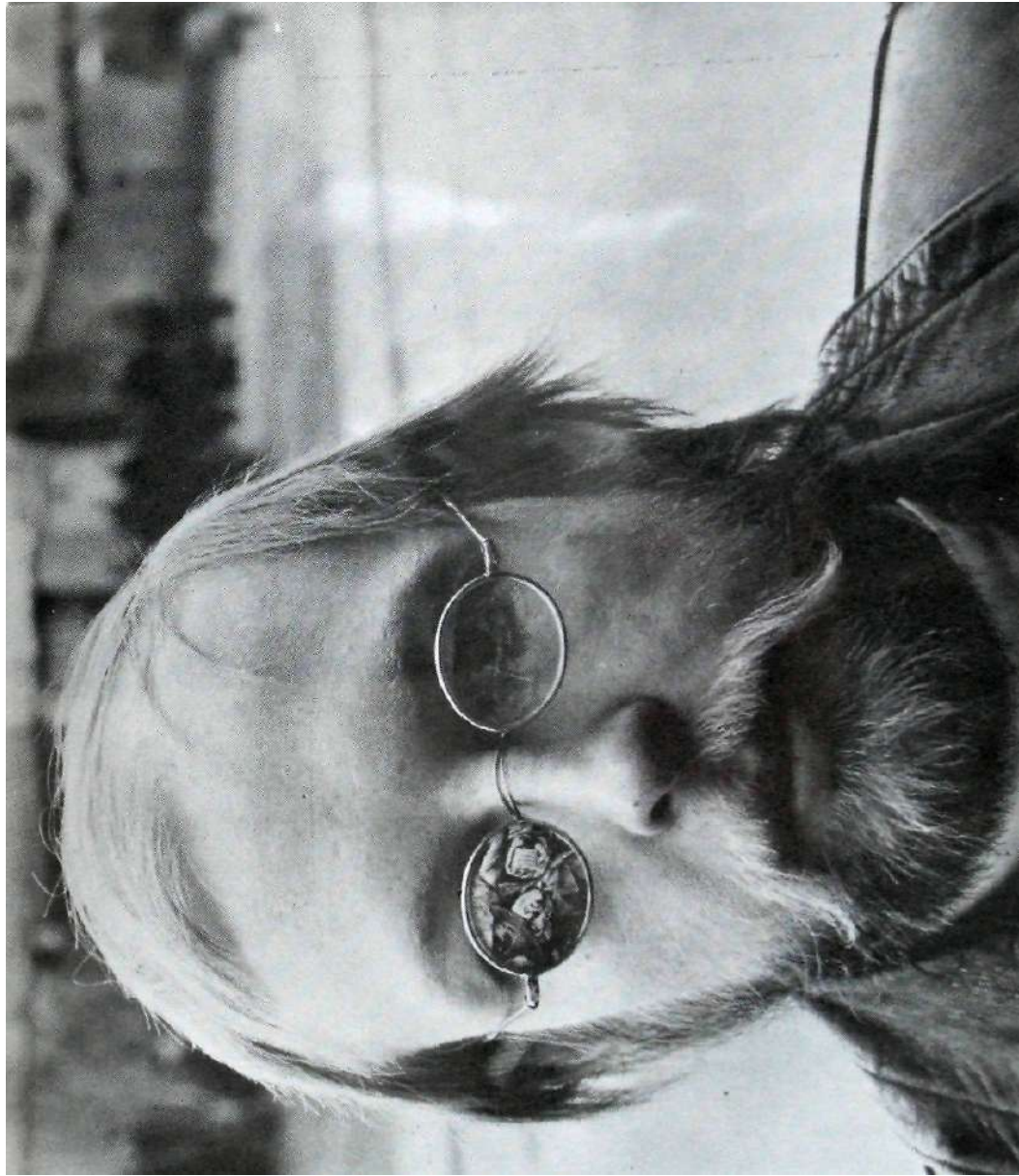


Художник  
Петр  
Белянок



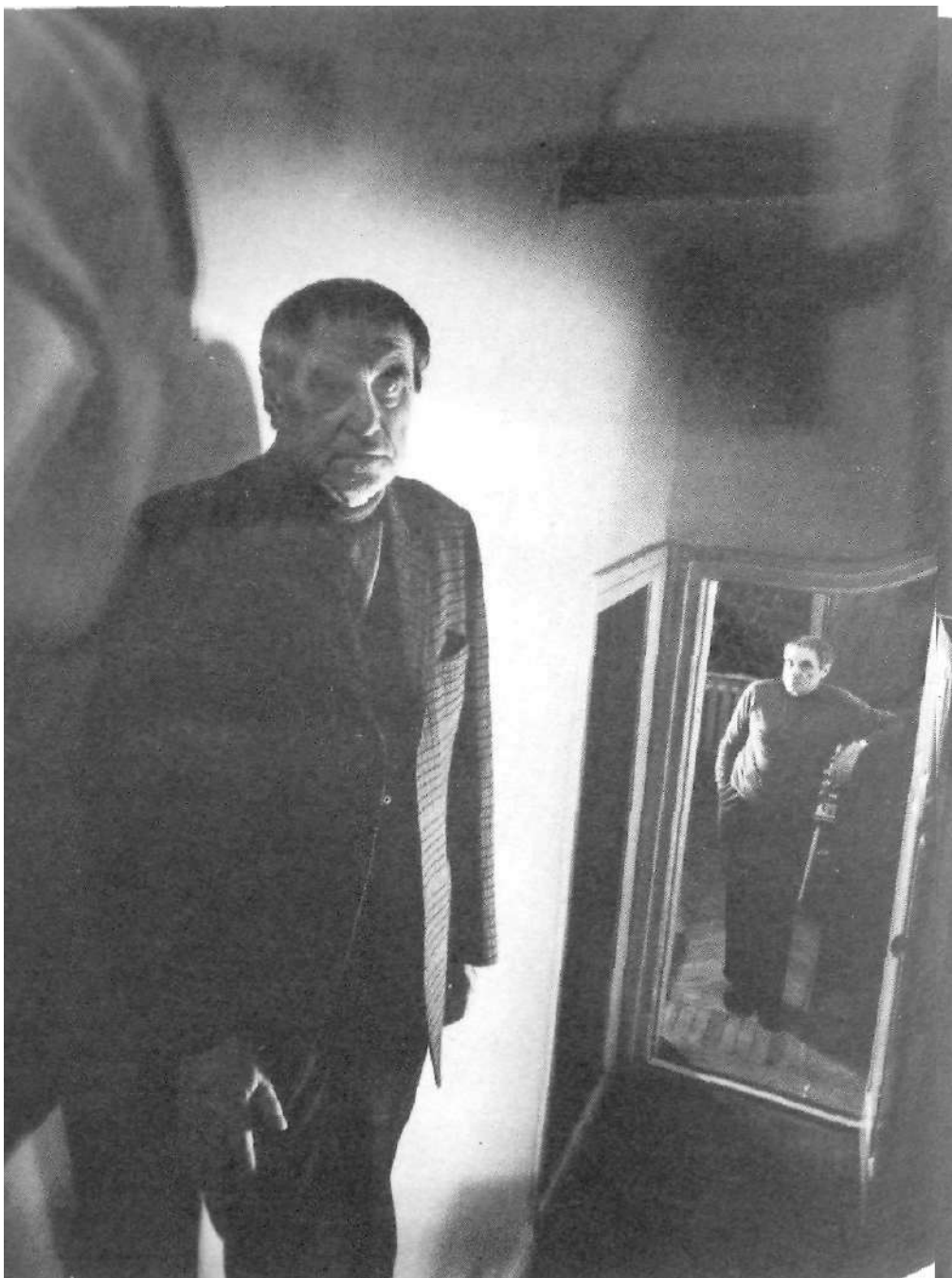


Лилия Брик  
в своем  
седу



Художник  
Владимир  
Иванов





Писатель Валентин Катаев

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**АНДРЕЙ НАЗАРОВ** — родился в 1943 г. в Москве. После школы работал репортером московских газет и Радиокomiteта. В 1970 г. окончил Московский литературный институт. Кандидат филологии. Занимался литературной работой. Был сторожем, рабочим геофизических партий, грузчиком, лифтером, лесорубом. С 1981 г. живет в Дании. В настоящее время занимается исследовательской работой в Славянском институте Копенгагенского университета.

**МАРИНА КОСТАЛЕВСКАЯ** — музыкант по образованию. Публикуется впервые.

**СОФЬЯ МАРТОВА** — живет в Москве. Стихи получены по каналам самиздата и публикуются под псевдонимом.

**ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ** — родился в 1926 г. Окончил Киевский университет в 1949 г. и Московский статистический институт в 1950 г. Социолог. Работал в Новосибирском университете, а затем старшим научным сотрудником Института социологических исследований в Москве. Эмигрировал в 1979 г. В настоящее время профессор Мичиганского университета.

**ЛЕВ ТИМОФЕЕВ** — рукопись получена по каналам самиздата.

**ЮЛИУС ТЕЛЕСИН** — родился в 1933 г. в Москве. Математик и поэт-переводчик. Подвергался слежке, допросам и обыскам за антисоветскую деятельность. За подписание ряда коллективных неофициальных писем был уволен с работы. В 1970 г. эмигрировал в Израиль. Живет в Иерусалиме.

**ШЛОМО БАУМ** — родился в 1928 г. в Кфар Иехезкиэль (в Езрельской долине). Родители Шломо Баума — выходцы из России. Подполковник Израильской армии. Один из создателей знаменитого "Подразделения 101". Службу в Израильской армии начал в 1946 г. Все остальные факты военной биографии Шломо Баума изложены в его интервью.

**ДЖОН БАРРОН** — известный американский публицист. Родился в 1930 г. Автор книг: "КГБ", "Пилот МИГа", "Гибель прекрасной страны" (в соавторстве с Энтони Полом), "КГБ сегодня" и др.

---

Исправление опечатки

По вине сотрудника, отвечающего за корректуру, в № 74 на с.9 в английском тексте допущена опечатка. Следует читать: "Not bad".

Ел.ГЛЕЗ

**НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА**

(223 стр.)

*Ел.Глез (Илья Исаакович Глезер) — по профессии и по призванию прежде всего биолог. Большую часть своей жизни он провел в Москве, и его труды в области строения нервной системы получили международное признание.*

*В 1972 г. Глезер был арестован и как сионист получил шесть лет лагерей и ссылки.*

Книга "Невидимые письма" — это воспоминания Глезера об этих шести годах. Однако воспоминания не совсем обычные. Лагерная тема, уже так много раз присутствовавшая в нашей литературе, в его книге получила неожиданное освещение.

Ее первая часть "Лефортовские сказания" — это прежде всего раздумья автора над судьбой еврея вообще. Потому так логичны библейские реминисценции и мотивы, которые он вводит в текст. А форма писем, которую избрал автор, придает его воспоминаниям интимную, камерную интонацию.

Вторая часть — "Богучанские чаепития" посвящена годам ссылки. Главный герой ее не столько сам автор, сколько русские люди, с которыми пришлось столкнуться Илье Глезеру в ссылке. Яркие, колоритные характеры сибиряков надолго запомнятся читателям.

Казалось бы, воспоминания, даже беллитризованные, но посвященные лагерю и ссылке, не могут носить оптимистического характера. И тем не менее "Невидимые письма" написаны оптимистом.

*Оформил "Невидимые письма" тоже оптимист. Имя его  
Вагрич Бахчанян.*

Стоимость книги 12 долларов. Плюс 1 дол. за пересылку.

Заказы и чеки направлять по адресу:

I.Glezer  
106 Pinehurst ave., A-34  
New York, New York  
10033

ИЕРУСАЛИМСКИЙ МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ  
"МАЛЕР"

Принимает заказы на книги нашего издания:

	Цена в долларах
М.Мамардашвили, А.Пятигорский. Символ и сознание	20
Р.Мандельштам. Избранное (вкл.восп.художника Арефьева;	4
А.Архангельский. Пародии	7
Г.-В.Катуме. Новые переводы (А.Волохонский)	5
Ф.Кафка. Письмо к отцу	7
Ю.Милославский. Избранные стихи	8
Л.Аронзон. Избранное	8
Комментарии к Откровениям св.Иоанна (А.Волохонский), включая комментарии к Книге Бытия и Сефер Ецира-Каббала	17
Е.Шифферс. Смертию смерть поправ (роман)	15
А.Хвостенко, А.Волохонский. Городские поля. Поэзия разного рода.	13
Парнас дыбом	15
Краткий словарь еврейских имен	5
Из библиотеки "Черная Курица": Ленин в русских сказках и восточной легенде (репринт с изд."Молодая гвардия", 1930)	8
Амос Тотуола. Путешествие в город мертвых	8
Протоколы сионских мудрецов Из "Золотой библиотеки"	8
Вера Ферра-Микура. Путешествие в город чудаков	10
Дж.Барри. Питер Пэн и Вэнди	10
Кр.Пино. Сказки	10
Я.Броневская. Приключения тряпичной Бальбиси Из "Иерусалимских тетрадей" (поэтические сборники)	10
К. Кузьминский	6
А.Волохонский	6
Ю.Милославский	6
И.Бокштейн	6
Тристан Туара	6
Бруно Шульц	6
Туфанов	6

Предлагаем книги других израильских издательств,  
антикварную и букинистическую книгу

Наш адрес: "Maler", P.O.B. 6608, Jerusalem, 91066, Jsrael



## "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

**УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:**

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции;

**Time and We**

**475 Fifth Ave, suite 511-e, New York, New York 10017**

**Цена в розничной продаже — 8.50**

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

## "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984 ГОД

## ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия . . . . .

Имя . . . . .

Адрес . . . . .

Подписной период . . . . .

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на . . . . . год. Высылать с номера . . . . .  
Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись . . . . .

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.  
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их  
поводу редакция в переписку не вступает.

**MAIN OFFICE: 475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A,  
NEWYORK 10017, Tel. (212) 684-3014**

OCR и вычитка — Давид Титиевский, февраль 2011 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки: Лев Нисневич.**

**Поэт Александр Галич (фрагмент).**

**На четвертой странице обложки: Лев Нисневич.**

**Лист из серии "Человек в шляпе". Нью-Йорк. 1980 г.**

**Фото Шломо Баума Иланы Баум**

**Фото Андрея Назарова Ленарта Лейбошица ( Lennart Leiboschitz)**

